

ГРИГОРИЙ
БАКЛАНОВ

КАР-
ПУ-
ХИИ





Г. Бабанов-

КАРПУХИН

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Издательство «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» Москва — 1967

Вблизи районного города средней полосы России на шоссе ночью сбит машиной человек. Шофер пытался скрыться, однако был задержан. Ведется следствие. Постепенно в это происшествие оказываются втянуты следователь Никонов, прокурор Овсянников, свидетели.

Но раскрытие подробностей убийства — только внешняя сторона событий новой повести Г. Бакланова. Повесть в сути своей рассказывает об обязанности человека быть человеком. Как бы трудно ни складывались обстоятельства, эту обязанность, этот долг свой человек должен исполнять сам. И герои повести, каждый по-своему, подвергаются этому человеческому испытанию.

Кроме повести «Карпухин», в книгу входят киноповесть «Зятя» и рассказы. Они написаны в разное время, в их основу положены иные события, иные действуют герои, но круг моральных, нравственных проблем объединяет их с повестью «Карпухин».

Позже, когда Мишаков погиб, все поступки его и все сказанное им в тот вечер приобрело особый, значительный смысл. Стали вспоминать и вспомнили, что был он беспокоен и не по-хорошему весел, словно предчувствовал что-то, а женщины, узнав, как вдруг захотелось ему проведать родителей, поняли значение этого, чего без них, быть может, и не понять бы: «Сердце подсказало. Знал, видно, больше-то повидать не придется...»

Но сам Мишаков ничего такого не знал и не предчувствовал. И вечер этот, последний в его жизни, был хорош и радостен.

Была пора сенокоса, и с утра уже стоял сильный зной. Даже под вечер, когда они, трое районных работников — бездетный землеустроитель Кучин, председатель райпотребсоюза Горобец и Мишаков — возвращались попутной машиной из колхоза, белое солнце все еще не клонилось к закату. Не доезжая до города, решили искупаться, и Мишаков постучал шоферу по железному верху кабины.

Пока ехали, стоя в кузове, встречный ветер сушил лица, рвал рубашки с плеч, и солнце на ветру не так жгло. Но едва слезли, двинулись пешком — все трое почувствовали неподвижный, тягостный зной, стоявший в поле. Рубашки липли к телу, у Горобца из-под соломенной шляпы по выбритым щекам тек пот. Только сожженный солнцем Кучин в своей надвинутой на глаза фуражке как будто даже не потел. Длинный, в тяжелых пыльных сапогах, он все шел и шел, мерил землю привычным

шагом человека, втянувшегося ходить на дальние расстояния.

Стали спускаться к реке по свежескошенному вянущему лугу. Реки еще не было видно, но уже дышалось легко. И сразу прибавили шаг. Оттуда, снизу, неслись голоса, плеск, и вскоре вода блеснула за осокой. Мишаков, еще на ходу снявший с себя рубашку, стянул на берегу сапоги, распаренными горячими ступнями стал на мокрую траву — и даже от души отлегло.

Вода в реке, медленно текущей среди лугов, была зеленая. Мишаков с коряги нырнул в нее и уже плыл по середине, и даже Горобец, зайдя по щиколотку, плескал себе на полные, бабьи незагорелые плечи и подмышки, пугаясь при этом, а Кучин все еще сидел на траве в фуражке, в неразмотанных портянках и медленно моргал, словно спал наяву.

Искупались по первому разу, и день показался не таким жарким, захотелось есть. Мишаков достал из брюк пачку папирос, осторожно беря мокрыми пальцами, закурил с удовольствием. На том берегу одевались и строились солдаты. Все они были в одинаковых синих трусах, одинаково остриженные под машинку, белые молодые мокрые тела их блестели на солнце. Сержант, уже одевшийся и заправленный, расчесал мокрый ежик волос, продул расческу и, пряча ее в нагрудный карман, ждал.

Тем временем хозяйственный Горобец выгрузил из полевой сумки на траву две банки голубцов в томате, хлеб, лук и огурцы, особенные, скрюченные, желтые, какие-то усохшие и уже старые, хотя в районе свежне огурцы еще и не начали появляться.

— Где ты их только заготавлиешь такие? — поинтересовался Мишаков.

Горобец усмехнулся уверенно, словно его хвалили, за

горлышко вытянул из воды отекающую бутылку и оглянулся на солдат, оглянулся кругом, потому что, хоть и свое они пили, в газетах как раз велась борьба с пьянством, а они трое были районные работники. Убедившись, что никто не смотрит, он быстро налил почти до краев единственный стакан, протянул Кучину:

— Тащи!

— Ну, будем здоровы,— сказал Кучин и бережно выпил, все выше и выше вздымая брови, словно обнаружив на дне стакана нечто удивительное. А выпив, сморщился, вслепую ткнул пучком лука в соль и сжевал до самых пальцев. За ним выпил Мишаков, последнему Горобец налил себе и спрятал бутылку в куст. Теперь, когда водка была выпита, закусывали не спеша. И хорошо было после жары и солнца закусывать на траве у речки.

Солдат уже построили, бравый сержант бегом повел их в гору, покрикивая: «Шир шаг!» И солдаты, только что искупавшиеся, смывшие с себя пот и пыль, бежали в гору, заново потая, вздымая пыль сапогами и стараясь на бегу сохранять строй. Все трое смотрели на них в приятном сознании, что могут сидеть и закусывать, и в далекое прошлое отошло то время, когда сержант командовал им: «Шире шаг!»

— Гляжу я на солдат, — сказал Мишаков с огурцом в руке, — молодые, а мелкорослые. Мы вроде бы не такие были.

Он сидел на траве, поджав босые мускулистые ноги, высокий даже сидя. На его обсохшем теле с глубоким шрамом под лопаткой, где в войну госпитальный хирург вырезал пулю, не было красиво развитой мускулатуры, какая достигается ежедневными упражнениями и гимнастикой. Но это был ширококостный, вошедший в силу человек, с детства привыкший к физическому труду.

Горобец охотно согласился, что «не такие». При этом лицо его осветилось самодовольством, оттого что все здесь вот так хорошо он устроил, и вообще он такой человек, что если ты с ним — человек, и он с тобой — человек, ты с ним по-хорошему — и он с тобой по-хорошему. И потому ему все рады и все он может достать, даже там, где другой ничего не достанет. А бездетный Кучин только вздохнул и, достав из жестянки кусок голубца, покорно понес его ко рту на ноже, страхуя снизу ладонью.

— А чего удивляться, — сказал опять Мишаков, — родились эти ребята в войну. Чего они видели? Картошку и то не вволю. Мельчает народ от войн.

Горобец, не склонный к философии, отличавшийся практическим складом ума, опять оглянулся по сторонам и за горлышко вынул из воды еще бутылку. Все видели, что он опускал туда одну, но теперь явилась на свет и вторая.

— Ты, Горобец, как Христос, воду в вино обращаешь, — польстил Кучин, поскольку пил теперь уже не свое. Горобец сказал только:

— Тащи!

Не ели с утра самого, и после этого стакана всех потянуло на откровенность. Кучину хотелось сказать о значении правильного землеустройства, о том, главное, что землеустроителей не ценят, но его не слушали, он обижался и под конец замолчал. Говорил главным образом Горобец. Про то, как ему приходилось пить с большими людьми. Рассказывал он подробно: сколько было выпито, чем закусывали, что сказал и что из еды «уважает» большой человек — все это как бы по секрету, вполголоса и оглядываясь.

Пролетел реактивный самолет. Какие-то люди спешили по своим делам, блеснули в небе, удаляясь, круглые

окошечки. А они трое сидели на траве. И речка текла не быстрее и не медленней, чем в те далекие времена, когда и самолетов не было, а трава росла все так же. Предвечерняя тишина садилась на луг, и за рекой далеко, будто в тумане, лаяла собака.

— Эх, Бойченко бы сюда! — заскучал вдруг Мишаков. — Вот голос!

Ему хотелось сейчас хорошей песни. И от огорчения, что ни Горобец, ни тем более Кучин не поют, он один пошел в воду.

Летят у-утки,
Летят у-утки,
Ой, и два гу-у-ся...—

запел он, стоя в реке по подбородок, и хорошо, далеко слышен был голос над водой.

Садилось солнце. Впереди, где река заворачивала, она казалась широко разлившейся, спокойная вода в ней блестела на закате, и на воду из кустов уже тек туман, и пахло в реке свежескошенным лугом.

Потом, когда они трое с мокрыми после купания волосами шли вверх по лугу, огромное красное солнце, перехваченное пепельным облаком, все еще держалось на весу над самой землей, и ближняя деревня в низине, среди стекавших к ней полей, вся была в розовом тумане. Из этого светящегося тумана блестели крыши домов и длинная крыша коровника. А дальше синел сквозь вечернюю дымку лес и там уже зажегся огонек, или это солнце сверкнуло в чьем-то окне.

Мишакова вдруг потянуло проведать родителей: они жили в той маленькой лесной деревне. Растрогавшись от того, что он идет их проведать, что все так хорошо и душевно, он попросил Кучина передать жене, что заночует

у стариков. И двинулся напрямик, без дороги: все здесь с детства было не раз исхожено.

Воздух свежел, и хорошо было сейчас идти полями, попадая то в сухие, то во влажные струи, когда тянуло от реки. Он шел и думал о своих стариках. Живут двое при своем огороде в большом пустом доме. Когда-то этот дом был тесен, а теперь большой стал, и они двое в нем. Так и живут, держась друг за дружку. Он увидел их мысленно, отца и мать, как они сидят сейчас за столом, двое старых людей, при керосиновой лампе. А ему даже зайти к ним некогда. Дела все, заботы районного масштаба... Э-э, не дела виноваты. Ведь он у них один. Один из трех остался. И вот как бывает: он, старший, прошел всю войну от первых горьких дней, и ранен был, и контужен, и — живой. А младшие подрастали, уходили на фронт и не возвращались. Даже не повоевав толком.

«Надо бы старикам хоть внучат на лето подкинуть, — подумал он виновато. — Перевернут в доме все вверх дном, попереломают — хватит отцу всю зиму чинить да вспоминать». И тут же Мишаков вспомнил, что жена не ладит со стариками. «А чего не ладить? Старики у меня хорошие, тихие. И Тамара ведь баба неплохая. Чего не ладят? Эх, люди, чудной народ! Была война — как друг за друга держались! Неужто забыли?»

Он услышал над собой шуршание, поднял голову, и зарябило в глазах, на короткий миг голова закружилась. От заката широкой полосой, черные в сумеречном свете, летели галки. С шуршанием и писком они летели с полей к деревне на ночлег. В ту сторону, куда он шел. Мишаков прибавил шаг.

Было уже темно, когда он по насыпи поднялся на шоссе. Асфальт, нагретый за день, остывал, и воздух над шоссе был тепел и сух, в нем звенели комары. Пока

Мишаков прикуривал от спички, несколько комаров укусило его в потную шею. Он размазал их ладонью, слепыми от огня глазами глянул в темноту. Вдали, у леса, мелькнул свет: по шоссе шла машина. Но Мишакову оставалось до деревни километра два, и он мысленно махнул рукой. По крутой у виадука насыпи он побежал вниз все быстрее, быстрее, рассыпая искры из папиросы. Внизу ручей под виадуком и землю закрывал туман. Мишаков споткнулся, полетел вниз, вымочил о росу колени и ладони. Стоя на четвереньках в тумане, он рассмеялся, услышал свой смех, как со стороны, и удивился: «Пьян, кажется». После контузии с ним случалось это и от стакана водки. Он зачем-то долго искал выпавшую папиросу, щупал вокруг себя землю руками. Наконец сообразил, что папироса намочила и погасла, раз не светится в темноте. И, сообразив это, обрадовался: «Нет, не пьян...» Стоя, Мишаков вытер ладони о брюки, закурил новую папиросу, глубоко вдыхая дым в сыром воздухе. Он задышался слегка, хотя ничего тяжелого не делал, в ушах глухо отдавались удары сердца.

Туман посветлел, и вверху над виадуком белые столбики стали видней, они наливались приближающимся светом. Мишаков вдруг полез наверх. Он лез, чтобы успеть выскочить на шоссе, остановить попутную машину. Снизу он не видел ее, но руками, ногами чувствовал, как дрожит земля. Все кругом постепенно освещалось, только откос, по которому он карабкался, был в тени. Земля осыпалась у Мишакова из-под ботинок, он цеплялся руками за траву, торопясь, с зажатой в зубах папиросой. И уже не главное было, доедет он или не доедет попутной машиной, главным был азарт — «Успеть!», ради которого он лез вверх, задышающийся, чувствуя только, как сильней, сильней, ближе дрожит земля.

Два сильных луча фар на повороте, пройдя над низкой, стремительно посчитали белые столбики ограждения и вырвались на простор. И в этот самый момент Мишаков, задыхающийся, счастливый, что успел, выскочил на шоссе с поднятой рукой. Он выскочил почти на середину и тут поскользнулся на чем-то, упал, больно ударился коленом. Он еще вставал, он не успел даже испугаться. Яркий свет ударил ему в лицо, и этот ослепивший его свет и визг тормозов — было последнее, что видел и слышал он.

А шофер только успел заметить белое мелькнувшее в луче лицо, и нога сама нажала тормоз. Потом — удар, от которого он зажмурился, внутри у него все оборвалось.

Машина стояла. Было тихо. Качалась цепочка на ключе. Шофер сидел в кабине не шевелясь. И тут услышал он стон, едва внятный. Задрожав, шофер выскочил из кабины к сбитому им человеку. И еще не добежав, понял: ошибся. Этот уже не мог стонать. Он лежал, как лежат только убитые, и на асфальте блестела при лунном свете вытекшая из-под головы его лужица.

— Сволочь ты! — стоя над ним, сказал шофер зазвевшим голосом. — Что ж ты со мной сделал?

Но никто не слышал этого, как не слышал и того, что делалось сейчас в его душе. Он отошел, сел на подножку кабины. И впервые за взрослую, трудную, сложную жизнь ему захотелось заплакать. Заплакать над собой, над всей своей вот так вдруг поломавшейся жизнью.

Мотор машины еще дышал жаром, но он уже начал остывать. И на асфальте остывал человек, недавно еще живой. И студенистая лужица крови, в которой утонули его непросохшие волосы, больше не расплывалась.

Потом далеко на дороге мелькнул свет. Исчез. Снова мелькнул. И побежал на повороте по белым столбикам.

Они засветились на возвышении дороги над чернотой и туманом поля. Шофер хотел встать, выйти на середину дороги и поднять вверх руки. И он уже встал и пошел было, но в последний момент, увидев этот быстро надвигающийся свет, словно судьбу свою увидев, метнулся вдвур в сторону и побежал.

Он бежал по полю в темноте, падал, вскакивал и снова бежал. Наткнувшись на стог сена, остановился. Задыхающийся, оглянулся назад. На возвышении дороги в ярком свете ходили люди. Шофер заплакал, один, стоя у стога сена в темноте, и пошел обратно. Потом пошел быстрей, потом побежал.

Там-то, в поле, когда он, опомнившись, возвращался, и поймали его случайно оказавшиеся поблизости прицепщик Федька Молодёнков и пастух, старик Чарушин. Оба были выпивши, шли, не зная куда, и, увидев бегущего человека, кинулись к нему.

Вели его, вырывающегося, победно. Издали кричали: «Ведем! Здеся! Не ушел!» И так держали за обе руки, что едва не выворачивали их. Особенно Федька Молодёнков, который и без того не знал, куда силу деть.

Из темноты вытолкнули его на свет фар как раз в тот момент, когда подъехала еще машина. Какие-то люди выскакивали из нее, изо всех дверей; ослепленный в первый момент, он плохо видел, плохо соображал. Люди столпились вокруг убитого, там сразу голоса смолкли. Другие подошли к нему. Торопясь, он пытался объяснить, рассказать им, как было, но они отводили от него глаза. Один подошел ближе, взгляделся пристально:

— Пьян, гад!

И плюнул ему в лицо. Шофер даже не мог вытереться: его все еще держали за руки.

Потом появились сразу две машины. Они светили

фарами на дорогу, на убитого, приехавшие громко спорили сразу на много голосов, и среди этих людей замелькали милицейские фуражки. Кто-то распорядился, его отвели и посадили на подножку его машины. Пастух добровольно остался охранять, а Федька Молоденков что-то рассказывал в толпе, громко крича и махая руками.

Орудовцы раскатывали по асфальту рулетку, измеряли, записывали, а шофер сидел на подножке, не участвуя во всем этом, происходящем вокруг него. Он покорился. В сознании его образовались провалы, он плохо слышал и не помнил, когда кто появился. Голоса, чернота ночи и полосовавший ее свет — все это отчетливо слилось в единое ощущение несчастья, опустившегося на него и отделившего от всех. Иногда новые люди подходили на него смотреть и отступали в тень.

Только незнакомый шофер, жалея, дал папироску и, загородив от всех, протянул прикурить.

— Жизнь наша шоферская: впереди — баранка, позади — Таганка, — сказал тот, не умея ободрить иначе. И вот эту жалость к себе он почувствовал остро. Ему захотелось что-то сказать этому шоферу, единственному из всех, понявшему его, но он только курил, жадно глотая дым, и у него дрожали пальцы, рассыпая искры, и жалкая улыбка, которой сам он не замечал, комкала его лицо. И шофер, свой брат, дал ему еще несколько папирос; а потом, зачем-то оглянувшись, полез в кабину его машины и выключил фары. Просто чтоб не садились аккумуляторы.

Глава II

Во вторник районная газета вышла с портретом Мишакова в траурной рамке, и под портретом был напечатан большой некролог. При жизни Мишакова помещали в га-

зете два раза. В группе известных председателей колхозов, толпившихся на поле, точно экскурсанты, он, подретушированный до неузнаваемости, был едва виден где-то на заднем плане. И оба раза, как и полагается агроному, он держал в руке колос пшеницы и улыбался. Сейчас на увеличенной фотографии он смотрел с листа газеты строгий и грустный, чем-то уже отдалившийся от живых, словно заранее лежала на нем незримая печать предопределенности, которую теперь только стало видно всем.

Под некрологом в соответствующем порядке, то есть не по алфавиту, а по значимости, по занимаемому положению, в два столбика были напечатаны подписи. И тут вышли свои обиды: чью-то фамилию поместили предпоследней, в то время как хозяин ее имел право стоять если не восьмым, так уж девятым во всяком случае. А инспектора роно Кашинцева забыли вовсе, и он, возмущенный, звонил в газету, говорил, что ему это не нужно, но он тридцать лет жизни беспорочно отдал району, и пусть ни единым словом не отметили его пятидесятилетний юбилей, но уж это, это хотя бы он заслужил!.. Встретив в тот же день на улице редактора газеты, Кашинцев прошел мимо, не поздоровавшись.

В некрологе было напечатано, что погиб Мишаков на боевом посту, и сказано о нем еще много добрых, хороших слов, которые почему-то никогда не говорили ему при жизни. И хотя он действительно был человек хороший и добрый, хвалили его сейчас не столько за его прижизненные заслуги и не потому даже, что о мертвых либо вовсе не говорят, либо говорят хорошо. Дело было еще и в том, что смерти его сопутствовали некоторые обстоятельства. Казалось бы, нет ничего страшного, если взрослый человек субботним вечером искупался в речке и выпил

с друзьями. Однако в данной обстановке это могло бросить тень не на него одного. И потому рядом с некрологом была напечатана гневная статья знатной прядильщицы Майи Посевой: «Лихача — к ответу!» В статье встречались такие выражения: «Преступная рука того, кто не смог совладать со своей пагубной страстью, кто пьяным сел за руль, оборвала жизнь...» И по этим «того кто», по гневным «доколе» и эпическим «доселе» опытные люди сразу распознавали руку самого Капинцева, который — что тоже не оставалось тайной в маленьком городе — уже много лет писал роман из колхозной жизни, намереваясь и никак не успевая вместить все, а по праздникам печатал свои стихи под псевдонимом.

В городе все знали, что у Майи Посевой муж — жертва этой самой пагубной страсти. И не раз случалось, когда она, женщина молодая еще, видная, — природа ничем не обделила ее, — сидела в президиуме, он, пьяненький до слюней и глупый, врывался в зал, что-то пытаясь кричать ей, и его выводили. В статье знатной прядильщицы гнев гражданина и женщины слились воедино. Она не сомневалась, что шофер был пьян, потому что все зло отсюда, и требовала суровых мер. А самым сильным местом статьи было то, где она напоминала о недавнем трагическом случае на шоссе. Всего полтора месяца назад двое учеников четвертого класса — мальчик и девочка, — возвращавшиеся из школы, были сбиты грузовой машиной. Они остановились посмотреть, как чинят трактор на обочине, а когда вышли из-за него с портфелями в руках, мчавшийся мимо грузовик сбил обоих. «Еще не заросли их свежие могилки, и вот снова убийство вблизи нашего города. И снова убийца — шофер!» Она требовала судить его здесь, на месте преступления, чтобы судьи услышали возмущенный голос общественности.

Мишаков был местный, здесь родился, здесь жил — не семечко, случайно занесенное ветром, корни его сидели в этой земле. Отсюда он уходил на фронт, сюда же вернулся. Все знали его родителей, каждый видел троих его детей, бегавших в школу. На похороны Мишакова сошло полгорода, а из колхозов приехали делегации. Даже Ермолаев, известный председатель и депутат, приехал на своей голубой «Волге».

Похоронив и засыпав землей, зашли помянуть покойника. Тем же самым, что и он при жизни не обходил. Сначала говорили о нем, о детях, оставшихся без отца. После третьей рюмки разговоры пошли хозяйственные: хорошо бы погода деньков еще пяток продержалась, как раз бы с сеном управились. О дождичке, который всего-то и нужен теперь хлебам под колос да под налив.

Разъезжались на закате. И долго еще по полевым дорогам вилась за машинами пыль, ветер относил ее на хлеба.

А в опустевшем доме Мишакова жена прижимала к мокрому щекам фотографии, разложенные на высокой теперь вдовьей пуховой кровати; за дверью шептались дети в темноте.

Глава III

Косил весь район, радуясь, что стоят погожие дни. Косили и горожане, кто держал коров. По оврагам, по обочинам дорог, где никто не ходит и не ездит, в ранние часы до работы выкашивали каждый бугорок, каждую кочку. Были, правда, сенокосы у леса, да и в самом лесу трава каждый год перестаивалась и гибла, были сенокосы у реки, но у леса — земля лесхоза, у речки — совхозные земли. И хоть все это не косили там — некогда, да и

некому, — частным лицам косить не разрешалось. С этим давно уже было строго и год от года становилось строже. Конечно, можно было поговорить с лесником, встать пораньше других и за бутылку накосить в лесу. Но у каждого сосед... И скосишь, и сложишь, а потом придут к тебе на дом: «Где взял?..» Если посчитать, сколько земли вот так проадало зря, той самой земли, которой когда-то, когда народу было меньше, не хватало, за которую убивались, брат с братом не могли поделить, если посчитать, сколько от нее составляют эти кочки да обочины, где косить хотя и не было вот так прямо разрешено, но где все же не препятствовали, так свежему человеку дивно покажется. Но и их хватало, если руки приложить. А еще и потому хватало, что коров в городе становилось все меньше.

И вдруг в этом году разрешили косить. Да не только разрешили, а приказывали отводить людям участки. И каждый косил, словно на всю жизнь хотел запастись, словно боялся с непривычки, что еще одумаются и отменяют.

К концу сенокоса пахли сеном улицы города и дворы, у которых сушилось оно, разворошенное на траве. Пахли вечера сеном. У хороших хозяев к этому времени уже высились на задах стога, прикрытые кусками толи, клеенкой, дерюжкой, какую не жалко, а у следователя Никонова каждый стог венчала крыша, поднятая на четырех шестах. Сам Никонов лично корову не держал и, была б его воля, он бы покончил с этим злом в масштабе всей страны. Но, женившись, вошел он в дом, где и в плохие то годы не мыслили себя без коровы, десятка кур, гусей. И хотя Никонов всей душой ненавидел частнособственническую психологию, садилась семья за один стол и получалось по пословице: попал в стаю — лай, не лай, а хвос-

том вилай. Каждое утро, когда одним рыбакам по доброй воле не спится, шел он вместе с тестем косить, понукаемый взглядом жены.

Но теперь все это, слава богу, было позади и на отдалении вспоминалось даже с удовольствием. В белой шляпе из соломки, с портфелем в загорелой руке, перекинув мундир через другую руку, он шел по тротуару, протоптанному в траве у заборов, мимо лавочек, пустых в этот час. Первое время на сенокосе у него болело все тело, привыкшее за зиму к сидячей работе, и засыпал он без снов, оглушенный усталостью. Но сейчас, похудевший и загорелый, Никонов чувствовал каждый свой окрепший мускул, чувствовал под рубашкой стянутую загаром кожу.

Еще пыль на дороге лежала, как улеглась с вечера, и воздух, отстоявшийся за ночь, был чист. Невысоко над садами поднялось солнце, оно светило по-утреннему, но уже грело спину, и Никонов, пока вышел на край города к тюрьме, вспотел под рубашкой.

Здесь, за толстыми кирпичными стенами, которые клали прочно, не на один век, день еще не чувствовался, словно все окна со всех четырех сторон выходили на север. После улицы, солнца Никонов своей вспотевшей шеей почувствовал этот сыроватый воздух с устоявшимся плесенным запахом. Он надел форменный свой мундир, застегнулся на все пуговицы.

В комнате с одним окном, через которое было видно небо в клеточку, Никонов разложил на столе бумаги и в ожидании подследственного закурил, сосредоточиваясь. Шофера этого он видел один только раз, сразу же после происшествия, и теперь, за сенокосом, казалось, не две недели прошли с тех пор, а все это очень давно было, и лица его он почти не помнил. Но само дело представля-

лось довольно ясным. Да Никонову пока еще и не поручали неясных дел.

Переключившая бумага, он освежил в памяти некоторые подробности. По бумагам значилось: Карпухин, Николай Андреевич. Карпухин... Двадцать пятого года рождения... Беспартийный. Русский. Ранее судимый. Вот с этого последнего пункта Никонов и решил начать. Чтобы у Карпухина не осталось впечатления, будто на нем — пятно на всю жизнь, и что он теперь ни говори, веры ему все равно не будет. То было тогда, а это — теперь. Теперь все по-другому, и для Никонова такой пункт решающего значения иметь не мог. Надо, чтоб Карпухин сразу же почувствовал это.

Никонов еще курил, когда ввели шофера. Не по своей практике, потому что это было только третье его дело, но от других Никонов знал, как важно первое зрительное впечатление. Потом, когда не один час они проведут вместе, он уже будет видеть Карпухина несколько иными глазами. Тем более важно, чтобы первое наиболее острое впечатление сфотографировалось в памяти. Важно было также, чтоб и шофер увидел с первой минуты, что перед ним не просто должностное лицо, не мундир, а человек, который хочет и способен понять его.

Никонов поднял голову от стола, взглянул на открывшуюся дверь доброжелательным взглядом, который, в сущности, относился не к этому человеку, а к некоему подследственному, которого вводили сейчас.

— Садитесь, Николай Андреевич.

Шофер сел, заметно волнуясь. Никонов близко увидел его. По бумагам ему еще сорока не было. Но тянул он на все сорок пять, если не больше. За его костистыми под хлопчатобумажным пиджаком широкими плечами почувствовал Никонов такую длинную жизнь — не по числу

даже прожитых лет, а по количеству пережитого, — что внутренне отстранился от него испуганно. Это напугавшее его, чего он даже не понимал хорошенько и никак бы не смог словами выразить, была разница судьбы, доставшейся им. Той судьбы, которая и ему при других обстоятельствах могла бы выпасть, но не выпала, обошла.

Перед ним на укрепленной в цементном полу табуретке сидел человек, которого жизнь словно пометила своим клеймом. И что-то уже притерпевшееся было во всем его облике, в больших руках, покорно лежащих на коленях, в том, как он взглянул снизу вверх своими замигавшими от волнения глазами.

Никонову, искупавшемуся утром в речке, когда с воды еще не сошел туман, выпившему до завтрака стакан пенистого парного молока от своей коровы, которой и на зиму уже накошено, а после с мундиром на руке, обдумывая дело, прогулявшемуся через весь город по утреннему солнышку, в первый момент не хватало здесь воздуха. Но большие легкие Карпухина под ребристой грудью, то подымавшейся, то опадавшей в вырезе рубашки, мерно вдыхали этот пропитанный испарениями воздух, не чувствуя, должно быть, его спертости. И сам он не выделялся резко среди казенных стен. В ботинках без шнурков, как предписано правилами, в мятой одежде, в которой он спал и несвежий запах которой чувствовался на расстоянии, он смотрел на следователя с робко мерцавшей в глазах надеждой. Все, что он говорил себе до сих пор там, в камере, все те допросы, которые он уже мысленно прошел, все это осталось за порогом, а здесь были только двое: следователь и он. И страх перед тем, что началось с этой минуты, и перед человеком, от которого в его жизни теперь зависело больше, чем от него самого. Этим человеком был Никонов. И Никонов почувствовал некое смущение и неловкость

перед ним за свой загорелый, словно с юга, отдохнувший вид.

— Курите, — сказал он, нахмурясь, положив пачку сигарет на край стола. Не из рук в руки дал, а положил, от себя подальше, к нему поближе. Привстав с табуретки, Карпухин потянулся за сигаретой. Никонов глянул на его руку. Это была привыкшая к грубой работе рука с короткими пальцами в шрамах и заживших рубцах. Машинное масло въелось в складки толстой, малочувствительной к боли кожи, черной каймой окружало ногти; оно еще не отмылось совсем, и не до конца сошел с кожи загар, но рука была уже того нездорового желтого оттенка, какой возникает без солнца.

Обломанными, отросшими ногтями Карпухин пытался схватить сигарету за краешек, одну, чтоб не касаться остальных, но вторая рука его была занята, он придерживал ею брюки, ремень от которых у него отобрали, и получалось так, что он только возил всю пачку по столу. Покраснев, поспешно кинувшись, Никонов помог ему, дал прикурить и, нарочно показывая, что не брезгует, взял в рот соседнюю сигарету. Некоторое время они курили, оба смущенные. И что-то похожее на доверие возникло в этот момент между ними.

— Я вас хотел спросить, Николай Андреевич, — сказал Никонов, покашливая. — Насчет первой вашей судимости. Той, давней...

Карпухин быстро глянул на него и опустил глаза.

— Видите ли, я знаю по бумагам, — заторопился Никонов. — Но вы сами знаете, бумаги не отражают всего... Мне хотелось, чтобы между нами не было неясности. Расскажите просто, по-человечески, — у него чуть не вырвалось — «по-дружески», и он, смутившись, добавил: — То — тогда было, а теперь все по-другому. И

не думайте, что это как-то может влиять на вашу судьбу.

Карпухин сидел, положив руки на колени, веки были опущены, покорное до безразличия выражение делало безликим его лицо.

* * *

— ...Вообще-то в документах год рождения у меня неправильный. Я не двадцать пятого — двадцать шестого года рождения. Но тогда двадцать шестой год на фронт не брали, я себе год прибавил, а дальше так оно и пошло.

Карпухин выдохнул из легких долгую струю дыма, сдул ею пепел с сигареты.

— А дело это в сорок четвертом году было. Зимой. Возили мы боеприпасы. А оттуда, с фронта, что загрузят: когда раненых везешь обратным рейсом, когда снаряженные гильзы. Ну и в тот раз тоже боеприпасы надо было везти. Как раз недавно пополнение получили, машины новые прибыли. Студера. А то доездились, во всем нашем мотобате тридцать две машины осталось. В батальоне четыре роты, в каждой роте — по три взвода, и вот, хотите верьте, хотите нет, в моем взводе — семнадцать машин. Во всем батальоне тридцать две только машины, а из них в моем взводе — семнадцать. Мне исключительно за это орден Отечественной войны первой степени дали. Исключительно за сохранность техники. А тут новый замполит прибыл. Командир батальона мне доверял, знал потому что, а этот — новый, только из академии. Отличиться он, что ли, захотел, или в нем лихость эта... Вообще так мужчина бравый, решительный. «Ты, — говорит, — лейтенант, поедешь замыкающим, колонну поведу я».

— Кто лейтенант? — не понял Никонов.

— Мне говорит он. Я ж командир взвода.

— А, ну да, ну да...

Но на самом деле просто было только сказать «ну да». А представить, что вот этот сидящий против него в расшнурованных ботинках спиной к серой тюремной стене шофер грузовика и лейтенант — одно и то же лицо, это представить себе и понять было вовсе не просто. Для Никонова со словом «лейтенант», «офицер» было связано слишком многое. Быть может, потому, что отец его, погибший на фронте, когда Никонову еще два года не исполнилось, был кадровый военный.

Он знал, конечно, что лейтенанты не всегда были такими, как сейчас, в мирное время, новенькими от фуражки до сапог. В войну и ротами, и батальонами, и полками часто командовали вчерашние учителя, колхозники, слесаря. Кончилась война — они опять вернулись к своим профессиям, стали тем же, кем были до войны, как вот Карпухин, наверное, или как у них в городе слесарь-водопроводчик Орлов, награжденный пятью боевыми орденами, которые он надевал по праздникам. Все это было как будто понятно и даже иначе как будто и не могло быть, но всякий раз, когда Никонов задумывался об этом, он чувствовал некоторое неудобство, словно сам был в чем-то виноват перед этими людьми.

А Карпухин, начав рассказывать неохотно, для протокола, увлекся постепенно. Хоть и не время, казалось бы, и не место, чтобы вспоминать, но так уж оно само вспомнилось, и даже лицо его суровое стало мягче как будто, помолодело. Ему нравился следователь, молодой, смущающийся, видно, совестливый, ничем не похожий на тех кремневых, какие встречались ему до сих пор: ты ему говоришь, он смотрит тебе в лоб, а у самого в глазах — зевота.

...— Тут главное дело было эту дорогу проскочить. Местность такая: вначале лесок дохленький. В нем еще ничего, маскирует все же. А дальше — голое болото. По одной стороне — километров на пять сплошную и по другой — километра два с половиной. И дорога вся на возвышении, очень хорошо просматривается. Тут, если в первую машину попадет, другие стали. А с боеприпасами! Везешь, а они за спиной у тебя, снаряды-то! Тут надо с умо-ом. Вот он, значит, все это по инструкции командует, машины приказал осмотреть, моторы прогреть. И не глушить. В пять утра выступаем. Мороз, правда, был, тут он прав. Но все равно нельзя же. Шутка дело — двадцать семь моторов работает! Хоть и на малых оборотах, оно ж раздается. Тем более над болотом, далеко слышно. Я ему говорю: мол, так и так, товарищ капитан. Все же ездим тут, знаем. Но он ничего этого слушать не стал и даже меня же еще при всех, — Карлухин улыбнулся конфузливо, — трусом меня обозвал. Говорит, ехать боишься, так и скажи, освободить можем. Конечно, скажи он сейчас, так оно бы терпимо, а тогда что же, восемнадцать лет было. Знаете, как в восемнадцать лет... Веди, думаю, раз такое дело! Ничего больше говорить не стал. Сел в кабину, сижу. Правда, все точно было. Пять часов — команда по колонне. Пошли! Ну немец, он же слышал. Ждал нас. Хоть и темно еще, а дорога у него пристрелена. Только на середину выбрались, тут он и начал садить. Содит и содит. А мы ждем! Тут дело такое: проскочить! Ка-ак рванет впереди! Враз все осветило. Ну, он и ввалил!.. Снаряды, они ж сами рвутся. Тут не то что, а просто-таки одна воронка, ничего больше не остается, как они все вместе рванут в кузове. Выскочил я, вижу, машины не спасешь, людей спасать надо. «Разбегайся, — кричу, — по обе стороны! Ложись!»

А оно еще болото было такое, не замерзает зимой; хоть ты что. Сверху ледок снежком припорошен, а станешь ногой — проваливается. Ну, тут уж не до этого, лежим в воде. А у него разведчик поблизости летал. Он авиацию и вызвал.

В общем, когда кончилось, две машины уцелело от всего взвода. Капитан ничего этого не видел, ему сразу же руку вместе с плечом вырвало. Пришлось мне за все и отвечать. Мы и сообразить еще не успели, живы ли, нет, а уже начальник особого отдела едет. Там в другой части сержант командира взвода застрелил. Вот он отсюда и ехал. Подъезжает на своем виллисе — где командир? Вон, говорят, с планшеткой ходит. Он меня сразу в машину, ничего объяснять не стал, я тоже не спрашиваю. Еду, раз везут. Приезжаем в дивизию, меня сразу под замок. Оказывается, он в леске стоял, все своими глазами видел. Которая часть там находилась, он их тоже расспросил. Ну, а меня уж и не стал спрашивать. В общем, на пятый день — вот она, сто шестнадцатая штрафная рота. Я, правда, как прибыл в роту, сразу же своему командиру батальона письмо послал, и ребята вернулись, рассказали, как было. Я уж это после узнал. А пока что кинули нас под деревню Новую Алексеевку. Там, под этой деревней, народу положили!.. Мы когда прибыли, они по всему полю замерзшие лежат. В лоб шли. По снегу. А у него там долговременные укрепления.

Вот стали мы эти доты взрывать. Трое лыж, как обычно, собьешь, взрывчатку на них положишь и ползешь к доту. Народ в штрафной роте, надо правду сказать, подобрался хороший. У нас и в мотобате хороший народ был, плохих вовсе мало попадалось. А тут же из всех частей собрано. Меня командиром отделения назначили, так у меня два майора под командой было,

Взорвали мы этих дотов двадцать шесть штук ровно, когда приказ приходит: взять деревню. Созывает нас командир роты. Не то что офицеров одних, а даже нас. Такой мужик был, не смотрел, что штрафники, для него все — люди. Ему как приказали деревню брать, он говорит: «Я деревню возьму. Но только вы мне не приказывайте, как ее брать. И час точный не устанавливайте. А я возьму. К утру буду в деревне». Созвал он нас: мол, так и так, получен приказ. «Только нам если ее по всем правилам брать, много мы здесь народу положим. Ее уже брали-брали, брали-брали, немец здесь стреляный. А я так думаю: что, если нам ее втихую взять? Подползти молчком, да сразу, со всех с трех сторон!.. Вы тут народ опытный, воевать умеете. Поставьте себя на его месте, если втихую действовать, страшно ведь?» Прикинули мы — и правда, страшно. На том и решили. Отпустил всех командир роты, а мне приказал остаться. «Твое,— говорит,— дело пересмотрено. Получено распоряжение отправить тебя обратно. Так что можешь не участвовать». Значит, дошло мое письмо. А комбат у нас был такой, что не отступится. Он за своих людей стоял.

Обрадовался я, конечно, что скрывать. Потому что не виноват я ни в чем, ни за что меня сюда заперли. Но и от этих ребят теперь уходить жалко. Сколько мы тут вместе трудов положили, пока эти доты взрывали, а деревню будут брать без меня... «Вы мне,— говорю,— разрешите остаться. Возьмем Новую Алексеевку, черт бы ее брал, вот тогда — пожалуйста». — «Ну что ж,— говорит,— оставайся. Это,— говорит,— по-моему». Да и так тоже подумать: ведь он мог мне не сказать. Перед операцией каждый лишний человек знаете как дорог! А он не посчитался, сказал.

В общем, ночью поползли мы к ней. Три часа по снегу

ползли, все мокрые. Что вы думаете — взяли! Которые немцы даже проснуться не успели. И такой азарт был, мы еще два с половиной километра гнали их и другую деревню взяли. В ней уж закрепились. Тут регулярные части подошли, сменили нас. Когда роту в тыл отвели расформировывать, в ней всего тридцать восемь человек осталось, почти все раненые. Мне вот эту ногу вот здесь из автомата прошило.

Так вы, может, не поверите, ко мне в санбат начальник особого отдела приезжал извиняться. Честное слово! И командир батальона тоже приезжал ко мне. Сказал, что ничего, мне это записано в документе не будет, звание мое вернули и даже наградили меня за операцию медалью «За отвагу». Сказать-то он сказал, а проверить уже не успел: его на другой день убило. И мне тоже ни к чему. Знать бы, конечно, а то я в уверенности находился. А уж после войны, как стали меня опять судить, раскрыли бумаги, а там все мое прохождение записано. Я, было, туда-сюда, объясняю, как оно и что, а кто ж мне поверит? Вот и вам тоже рассказываю, а вы слушаете и, может, не верите мне, доказать мне все равно нечем.

— Ну что вы! — сказал Никонов, слушавший под конец с волнением. — Когда человек говорит правду, ему не верить нельзя. Вам и раньше поверили бы, если б это не тогда было.

— Может, так... Жизнь-то она — полосатая. В какую полосу попадешь. А мне везет: все через раз попадаю и все не в ту полосу. Это все равно как не успел на зеленый свет проскочить и тебе до конца уж на каждый светофор наткаться. Только подъехал — стоп! — красный свет. А те идут в зеленой волне, им и ветерок в стекла. В общем, второй раз вовсе по-глушому получилось. Ну, тут правду

надо сказать, виноват был. Хоть, может, и не настолько, а виноват. Получилось так: приходит ко мне сестрин муж, Николай. «Там,— говорит,— у магазина бочки лежат из-под огурцов. Давай вечерком подъедем, штучки две махнем, никто не увидит». Время было голодное, сами знаете, сорок шестой год,— сказал он, не сообразив, что о сорок шестом годе воспоминания у них разные: в тот год будущий следователь Никонов еще даже в школу не ходил.— Какое тогда питание? Картошка да капуста, у кого есть. Я холостой, шофером работал. Шофером тогда жить можно было: машин-то после войны вовсе мало осталось. А у сестры — детишек трое. И жили с рубля. Бывало, когда дров машину скинешь, когда деньжишек одолжишь и не спрашиваешь после: как-то помогать надо было. Вот он и говорит: давай эти бочки махнем, а то капусту на зиму солить не в чем. Давай, говорю. Ящики эти, бочки сроду у магазина навалом лежат, вывезти не на чем. А то нагрузят несколько машин тары, свезут за город в овраг, да и сожгут. Сутками, бывало, дымят, жители их на дрова растаскивают. Я хоть бы и днем нагрузил, никто б мне слова не сказал, потому что это у нас за грех не считалось. Сам не пойму, чего мы ночью поехали? В общем, покидал я их в кузов. Еще и третью кинул: бери, не жалко! Чего теперь, я правду говорю. Закурил. Николай меня тормозит. И на самом деле, только стартер нажал — милиционер бежит, свистит в свисток. У Николая одна рука сухая, вот здесь пулей перебита, толкает меня ей в бок: «Едем скорей, ради господ бога! Задержит ведь!..» А мне чего-то смешно стало, как он бежит сюда, я его издали узнал. Был у нас там милиционер по фамилии Свобода, шофера прозвали его: «Каторга». Старый уже, вот такого росточка, а ни один преступник от него не уйдет. Зимой раз в мороз километ-

ров десять гнал двух грабителей по снегу. Все с себя скинул, бежал за ними. Один, правда, ушел, но другого задержал. И что интересно, без оружия был, одним страхом придавил его. Когда привел в отделение, там смеяться стали: парень на голову выше его, сильнее вдвое. Это бывает — собака так приучена: вцепится — умрет, не отпустит. Вот так и он. Хватило бы у того парня силы двадцать километров бежать, он и двадцать бежал бы, тридцать — он и тридцать.

Подбегает к машине, ногой на колесо: «Та-ак... Бочки... Никуда не ездей!» Достает бумагу из планшета, фонариком присветил номер машины. Между прочим, машину он мою знал: сколько раз подвозил его. Они хоть и милиция, а с транспортом у них, один черт, плохо было. Бывало, едешь — подымает руку. Посадишь с собой в кабину, денег, конечно, не берешь, как обычно с милиции. Один раз даже попросил меня машину навоза привезти. Он на окраине жил, огородишко у него, картошку сажал. Привез. Просто как человеку. А тут переменялся. «Ладно, — говорю, — сгружу бочки, черт с ними». — «Нет, не сгружай. Едем в отделение». И становится на подножку вроде бы конвоировать меня. Что вы думаете, доставил! Входим — дежурный сидит тоже знакомый мне. А тут глянул на Свободу и перестал узнавать. Говорить желает исключительно под протокол. Но я все равно не думал. Сестра плачет, бывало, а я смеюсь: «Там еще лучше, под ружьем водят, никуда не потеряешься». До самого суда не думал. Пришел по повестке, своими ногами, а оттуда уж повезли на казенный счет. Все мое прохождение вспомнили. Штрафную роту, все к одному. Вкатили семь лет. Хоть бы уж бочки-то были дубовые, а то осиновые. Ну, правда, я всю вину на себя взял. Жалко мне сестру стало. Неважный он был кормилец с одной-то рукой, а без него и вовсе

куда денешься? Если из того леса, что я там семь лет рубил, бочки поделать, так небось на всю страну капусты насолить хватит. Может, и до сих пор солят, не знаю. А я через те бочки вот только полтора года назад впервые супругой обзавелся, как человеку положено.

И он улыбнулся своей неожиданной улыбкой, открывавшей и делавшей мягче его лицо.

Хорошо было слушать, трудно после этого начинать говорить. А начинать нужно было.

— Как же вы так... если у вас уже был однажды факт биографии... — Никонов мялся, ища необидное слово. — Как же вы после этого садитесь за руль в нетрезвом состоянии? Ну, случился наезд... Бывает. А когда шофер нетрезв при этом...

Тут Никонов только руками развел. Он страдал оттого, что ему надо вести дело этого человека, которому он сочувствовал. Конечно, Карпухин никакой не преступник. Просто невезучий он человек. Неудачник. У неудачников всегда так: хотя бы сделать лучше, а оборачивается против них. Но это если рассуждать вообще. А в данном конкретном случае он совершил деяние, имеющее точную квалификацию на языке юристов и предусмотренное частью II статьи 211 Уголовного кодекса РСФСР. В пределах статьи еще как-то можно было варьировать, но факт оставался фактом. И если Карпухин никак, очевидно, не был виноват в первом случае, если во втором случае при наличии вины можно было все же искать смягчающие обстоятельства, то сейчас и их не было.

— Как же вы так безответственно! Ведь для шофера это первая заповедь. Все можно простить, но пьяный за рулем... Я вижу, вы понимаете меня, тут просто нет оправданий.

Карпухин кивнул и облизал губы. Он с таким доверием слушал следователя, потому что это был расположенный к нему человек, с таким доверием смотрел на него, что смысл сказанного дошел как-то позднее.

— Гражданин следователь, а я ведь не пил. Я ее вообще не пью. — Карпухин растерянно и даже глуповато как-то улыбнулся.

Никонов отвел глаза. Ему стыдно было сейчас за Карпухина. И самому неловко, что он слышит и видит это.

— Я не говорю, непременно ее. Не обязательно водку пить. За рулем достаточно и кружки пива.

— И пива не пил. Честное слово!

— Слушайте, Карпухин, не надо! Нет таких людей, чтоб вообще не пили. Понимаете? Нет! А среди шоферов тем более. Я тоже пью. Не на работе, конечно, но случается. Не пьет только сова. И знаете почему? — позволив себе вольность, Никонов заранее улыбался и не замечал оглушенного вида Карпухина. — Не пьет она потому, что днем спит, а ночью магазин закрыт.

И он засмеялся, ожидая на свою такую дружескую откровенность если не благодарности, то ответной улыбки хотя бы. Но Карпухин только кивнул опять, ничего, видно, не поняв, и снова облизал губы.

— Поймите меня, Карпухин, правильно. Вслушайтесь и постарайтесь понять. Между нами установились отношения доверия. Так мне по крайней мере кажется. — Он подождал подтверждения, но Карпухин все так же смотрел на него. В растерянных его глазах металась заганная мысль. Никонову неприятно стало. Не за себя, конечно, за него. — Это очень важно, чтоб я вам доверял. Для вас важно. Так не разрушайте же этого доверия.

Вот тут Карпухин по-настоящему испугался. Что было, с тем еще поспорить можно, отречься. А вот если не было, как доказать? Приставят, и не докажешь ничего.

— Не пил я, честное слово. Потому что нельзя мне!

Никонов поморщился в душе. Вот так и в те разы было. Люди охотно, с мельчайшими подробностями, не оставлявшими сомнений, что говорят правду, рассказывали о прошлых делах, за которые наказание им уже не грозило. И эти же люди потом начинали бессмысленно, неуклюже врать.

— Если б каждый руководствовался словом «нельзя»! Тогда б и суды не нужны были, и нас, грешных, можно было бы распустить по домам, — сказал Никонов, не замечая некоторой доли кокетства в своих словах.

— Я ее сам боюсь, потому что себя знаю, — в голосе Карпухина сказала явная неуверенность, когда он заговорил об этом. Но он взглянул на следователя и поборол себя, как бы решив, что ему можно сказать, не опасаясь. — Было у меня однажды. Когда из заключения вышел. Здорово зашибал тогда. Меня даже в слесаря переводили на полгода. Может, и из парка выгнали бы, если б не механик колонны. А вот полтора года уже в рот не беру. С тех пор как жене обещал. Она идти за меня не хотела. Молодая, а тут сидел уже, пьющий. Боялась идти. Но я ей твердо сказал. На свадьбе своей и то не пил. Вы на автобазе спросите, вам скажут. Я на праздник и то лимонадом чокаюсь. Потому что сорваться боюсь, знаю себя.

Никонов заколебался. Он чувствовал, что опять верит ему. Ведь мог же Карпухин ссылаться на то, что не было экспертизы, что все основывается только на свидетельских показаниях. Два раза судим человек, опытный, кажется, мог бы усвоить истину, без которой, как без мо-

литвы, тесть Никонова и спать не ложится, повторяя отдохновенно: «Концы в воду — пузыри вверх!» А этот рассказывает про себя такое, что и оправданием служить не может, что легче всего против него же использовать, если захотеть.

Никонов очень внимательно посмотрел ему в глаза. Хитер он или в самом деле прост? Из следовательской практики Никонов знал десятки известных примеров, когда все поначалу сходилось, обличая в невинном преступника. И только ум, смелость таланта и кропотливейшая работа помогали следователю временами интуитивно пройти обрывавшийся путь от догадки до открытия истины, которая казалась уже навеки погребенной. А может быть, это и есть такое дело, где на первых порах ему суждено одному быть против всех? Потому против всех, что в городе даже дети знали, что шофер, сбивший Мишакова, был пьян. Что угодно можно было ставить под сомнение, пытаться опровергнуть или, наоборот, доказать, но это и доказывать не требовалось. Это было несомненно для всех. Но Никонов уже зажегся.

— Ну что мне с вами делать, Карпухин? Поймите, я хочу вам верить. Хотел бы, во всяком случае. Но факты ведь против вас. Факты куда девать будем? В карман же не спрячешь их. Ну, ладно, кажется, первый раз в жизни вам повезло: следователь добрый попался. Давайте вместе разбираться. С самого начала, шаг за шагом разберем все.

Глава IV

В будний день, в зной, городская площадь с утра безлюдна. Пропылит грузовик, растрясенный по деревенским ухабам, звенящий бортовыми цепями, весь громыхающий, как пустая железная бочка, — из многих окон, оторвавшись

от дел, глядят ему вслед служащие люди, соображая, чей это и куда? Чаще всего грузовик, мчавшийся как на пожар, тормозит здесь же, перед чайной, и вращает в землю надолго. А служащие, удостоверясь, принимаются за дела, подсчитывая надой и обмолоты, сколько вывезено, сколько сдано и сколько еще с окружающих город полей сдать надлежит.

По одну сторону площади, там, где, возвращаясь с базара, люди ждут на жаре автобуса,— церковь. Купола ее, некогда золоченые, проржавели, и сквозь железный каркас, формой своей все еще напоминающий луковицы, светит по ночам на каменные развалины желтая луна. А на сбитой снарядом колокольне, на самом карнизе, из кирпичей, растет на ветру кривая березка. Как уж она там растет без воды, никем ни разу не политая, когда в такую сушь на земле и то деревья чахнут — никому это не известно, да и не каждому есть время глядеть вверх. Посреди же площади, в небольшом скверике, — бетонный постамент. Многие годы неизменно стоял на нем цементный памятник, вначале просто побеленный, а потом покрашенный под алюминий. А по обеим сторонам площади тесным кольцом окружали его учреждения. В двухэтажных, большей частью старинной постройки зданиях — низ кирпичный, верх рубленый, обшитый — помещалось их столько, что вывески у дверей лепились тесно друг к другу. Среди них над одной из дверей значилось: «Суд».

Туда, на второй этаж, вела деревянная в два пролета лестница, истертая посредине подошвами ног, словно протекал тут ручей, промывший себе русло. Тек он большей частью не своей волей, и были люди, руководившие правильным течением его. В числе них — три адвоката, в меру своих сил и возможностей пытавшиеся вылавли-

вать каждую щепку, попавшую в общий поток. Как все служащие города, они приходили на работу в определенный час.

Первым приходил обычно Соломатин, живший дальше других. Неся за ручку ученический под крокодиловую кожу портфель, мятый, мягкий и вытертый, на одном никелированном замочке, он шел согбенно, над сутулой спиной торчали подрезанные сзади седые волосы, под козырьком фуражки блестели круглые стекла очков. При каждом шаге по лестнице вверх обозначались острые колени, голова кивала в такт, лицо скорбящее, словно нес он в своем обвисшем портфеле весь груз людских грехов.

Завадовский входил стремительно. Свежевыбритый, энергичный, с тонкой кожаной папкой в смуглой руке, на безымянном пальце которой блестело толстое золотое кольцо, он взбегал по лестнице, не задерживаясь ни с кем из ожидавших его клиентов, но каждому оставляя впечатление, что он торопится по его делу и будет лучше в интересах дела не останавливать его сейчас. При этом лицо его сохраняло профессионально-озабоченное выражение человека, который ничего определенного пока еще обещать не может, но, сознавая всю сложность, имеет основания надеяться на лучший исход.

Взбежав наверх, Завадовский здоровался, с порога бросал папку на свой стол и шел вслед за нею. От сотрясения пола, произведенного его шагами, как бы поколебавшись, сами собой начинали растворяться дверцы шкафа у стены. Соломатин, близоруко царапавший пером по бумаге, подымал голову, смотрел на них поверх очков старчески мутноватыми слезящимися глазами. И, составив фразу в уме, опять сгибался носом к бумаге, шепча.

После горячего утреннего завтрака Завадовскому, прежде чем приступить к делам, требовалась одна хоро-

шая папироса и пара минут разговора с живым человеком. Не того вялого разговора, когда словами вторично проходят путь, давно пройденный мыслью, а разговора легкого, ироничного, способного доставить истинное наслаждение.

Вернувшись, закрыв дверцы шкафа, Завадовский сел на свое место и закуривал, вытянув ноги под столом. Некый философ, кажется, Киркегор, сказал однажды, что людям дана величайшая из свобод — свобода мысли, — они же почему-то требуют свободы выражения ее. Завадовский умел ценить эту величайшую из свобод, умел не только пользоваться ею, но получать удовольствие, если рядом не было хорошего собеседника.

Проходя под открытым окном, Никонов услышал у адвокатов смех. Там посреди комнаты стоял Егоров, третий из адвокатов и самый молодой. Без пиджака, в белой рубашке с засученными рукавами, с плечами боксера, он громко рассказывал о только что закончившемся в областном суде процессе, в котором участвовал.

С тротуара Никонов увидел мелькнувшую в открытом окне второго этажа его голову в черных густых волосах, услышал громкие голоса и позавидовал: живут люди! Ему захотелось зайти, послушать, чему они там смеются. Но идти ему надо было совсем в другие двери. В те двери, где помещался городской прокурор.

Никонов всегда считал, что основной воз везут они, следователи. А адвокаты... Когда иной раз появлялась статья в газете, в которой между строк, хотя и неявно, но вполне ощутимо сквозила мысль: «Кого и от кого у нас вообще нужно адвокатам защищать? Преступников от народа?» — Никонов не то чтоб соглашался с нею, но не находил в себе убедительных доводов, чтобы оспорить. И сейчас, проходя под окнами, он только подумал: «Ве-

село живут!..» А вот ему, пока они там смеются, предстояло защищать человека. И не на публике, а с глазу на глаз, при закрытых дверях.

За несколько дней, которые он провел с Карпухиным, Никонов поверил, что тот невиновен. К этому выводу он пришел вчера и хотел тут же звонить прокурору. Но у него хватило выдержки отложить до следующего дня. Чтобы утром на свежую голову обдумать еще раз.

Он лег спать, но заснуть не мог. Рядом, горячая во сне, тяжело дышала жена. Она кормила грудью второго ребенка и на ночь выпивала по две поллитровые банки молока с чаем. Пышущая, она оттеснила его на самый край, и он лежал там, боясь шевелиться. Подушка была ему горяча, отчего-то чесалось все тело.

Никонов осторожно слез на пол с высокой кровати и в тапочках на босу ногу, в брюках и в майке вышел в сад. По светлой от луны дорожке он ходил между яблонями, обняв себя руками за мерзнущие плечи, и мысленно говорил.

Он говорил: «Да, нами совершена ошибка: взят под стражу невиновный. Но мы должны найти в себе мужество взглянуть правде в глаза, потому что этот невиновный — человек! И человек, уже переживший многое, уже пострадавший однажды безвинно».

Он говорил: «Владимир Михайлович! Я понимаю, как трудно отрешиться, когда все факты как будто бы против. Но они потому только против, что мы их видим такими. Мы с вами знаем великие примеры...»

Слезы выступали ему на глаза, когда он говорил:

«Перед нами — жизнь! Мы можем вернуть ей смысл и значение, вернуть человеку веру в справедливость и можем отнять их у него. Ему сорок лет, а он только недавно женился, ждет первого ребенка. Он хочет честно

трудиться. И вот трагическое стечение обстоятельств. Владимир Михайлович! Не в наших силах вернуть осиротевшим детям их погибшего отца. Но нашему обществу мы можем и должны вернуть гражданина!..»

Вздрагивая от волнения, он все быстрее и быстрее ходил по дорожке сада. Жена, проснувшаяся под утро кормить, увидела его озябшего, бегающего под яблонями и прогнала в дом. И рядом с ней, горячей, сонной, он согрелся в постели и уснул. А утром встал с тяжелой головой. Тот взрыв энергии, который должен был потрясти, разрядился в нем беззвучно. Он чувствовал себя опустошенным. И подымаясь теперь по лестнице к двери прокурора, Никонов испытывал странную неуверенность и отчего-то робел.

* * *

— Да! — сказал прокурор Овсянников, услышав: «Разрешите?» и стук в дверь. Потом уже поднял взгляд от бумаг. Вошел Никонов с портфелем, дверь притворил за собой уважительно.

— Да! — еще раз сказал Овсянников, и это «да» означало: «Слушаю!», хотя не гарантировало ни в коей мере, что слушать будут долго. И во взгляде его не было радости оттого, что его оторвали от дел.

Овсянников не задумывался над тем, почему он, в сущности, неприветливо встречает людей, входивших к нему в кабинет, с первой минуты создавая не обстановку наибольшего благоприятствования для них, а как бы ставя преграду. Делалось это инстинктивно, из чувства охранительного, а со временем стало привычкой потому, быть может, что ни с чем хорошим люди к нему не шли. И когда человек входил, заранее уже волнуясь и робея, Овсянников воспринимал это как естественное состояние,

в котором и должен в его присутствии находиться человек.

Он и сейчас никак не помог Никонову, который не сел сразу, а только поставил на угол его стола портфель и, доставая оттуда папку, что-то сбивчиво говорил.

— Что? — переспросил Овсянников громко и, подняв голову от бумаг, в чтение которых успел снова углубиться, глянул на портфель. Портфель исчез со стола.

Он не сомневался, что в портфеле этом, в папке, которую оттуда уже доставали на свет, — ноша, которую Никонов будет стараться переложить на него. И сделает это очень успешно, если помочь ему. Овсянников не чувствовал большого желания помогать ему в этом предприятии.

— Я относительно дела Карпухина, — начал Никонов, скромно раскрыв папку на коленях. — Дело в том, что возникли некоторые новые подробности. Даже не столько подробности, как сама оценка имеющихся фактов. Некоторые факты, Владимир Михайлович, казавшиеся вначале бесспорными, при более тщательном рассмотрении такими бесспорными не выглядят сейчас...

Овсянников ждал. Никонова смутило выражение лица и взгляд, которым прокурор смотрел на него. Словно смотрел он с огромного отдаления, на котором и Никонов, и принесенная им папка были маленькими. И вместе с возраставшей неуверенностью Никонов чувствовал, что все те горячие слова, которые он мысленно говорил ночью и от которых у него слезы выступали на глаза, здесь невозможны, и, если бы прозвучали вдруг, ему бы сделалось стыдно.

А между тем он говорил:

— Самый сильный пункт обвинения состоит в допущении того, что шофер Карпухин был пьян. На этом до-

пущении строится все. Даже экспертиза ГАИ дает некоторую свободу в толковании его виновности. Но был ли он действительно пьян? Так ли это несомненно, как это всеми признано сейчас?

— Почему же всеми? Вот вами, я вижу, не признано.

— Владимир Михайлович, я исхожу из того гуманного положения, что всякое сомнение толкуется в пользу обвиняемого. А поскольку сомнения эти возникли, я не могу ими не поделиться.

И он взглянул на прокурора, как ученик, ожидающий отметки. Отметки не последовало. Никонов начал излагать последовательную цепь событий в том порядке, как это было у него продумано, то есть так, как могли себе это представлять люди, недостаточно глубоко вникшие в суть дела. Сначала с максимальной объективностью он перечислил факты, как бы подтверждавшие виновность Карпухина. Среди них:

Показания трех свидетелей, жителей деревни Ракитки, видевших машину Карпухина в этой деревне около чайной в девятом часу вечера 14 июля, то есть примерно за три часа до совершения преступления.

Некоторые обстоятельства гибели Мишакова.

Попытка Карпухина скрыться сразу же после того, как им был сбит человек, чем косвенно подтверждалось предположение, что он был пьян и таким способом надеялся скрыть это, чтобы вернуться, когда это отягчающее обстоятельство будет уже невозможно установить.

И, наконец, показания пастуха Чарушина и прицепщика Молоденкова о том, что задержанный ими в четырехстах метрах от шоссе и пытавшийся скрыться шофер, в дальнейшем оказавшийся Карпухиным, был действительно пьян и от него пахло водкой.

Никонов даже намеревался сообщить прокурору и

еще одну очень важную подробность, добытую им в ходе следствия: то, что полтора года назад Карпухин в самом деле пил и даже возникал вопрос о его увольнении.

Вообще говоря, как честный человек, он не имел права делать это, потому что Карпухин рассказывал ему доверительно. И будучи убежденным в его невинности, использовать доверие во вред ему же — это было нехорошо и нечестно. Но в том и состоял план Никонова, чтобы вначале не только объективно изложить все факты, но изложить их с точки зрения тех людей, для кого вина Карпухина представлялась несомненной. И тут такая степень откровенности могла быть только полезной.

Зато чем неопровержимей будет выглядеть эта цепь событий вначале, тем неожиданней и блистательней будет выглядеть тонкий анализ, при помощи которого Никонов намеревался в дальнейшем опрокинуть каждый факт в отдельности и все событие в целом. Им так предвиден, так уже был предвкушен эффект в конце, что вся предшествующая часть казалась несущественной, через которую надо пробежать. Ему даже представлялось ночью, как прокурор Овсянников, этот суровый, порою даже хмурый, но несомненно честный человек, встанет и без слов пожмет его руку.

Но вот сейчас Никонов говорил, а Овсянников смотрел на него. На всем протяжении его речи сидел и смотрел через стол. И чем дольше так прокурор смотрел на него, тем неуверенней начинал чувствовать себя Никонов. Ему уже не казались такими неопровержимыми его доказательства. Но события вели его, и, нагромождая факты, уличавшие Карпухина, он со страхом ждал приближения того момента, когда все их ему придется опровергать. Он говорил, а мыслью забегая вперед, старался вспомнить доказательства, и от этой взаимоисключающей работы

глаза его, которых сам он не видел, были испуганными.

— Итак, — закончил он заранее приготовленной фразой, — доказательства как будто бы достаточно убедительны и в какой-то степени не оставляют сомнений. Но взглянем на них под другим углом зрения, так ли они убедительны на самом деле?

Никонов в этом месте сделал заранее рассчитанную паузу и взглянул на прокурора. На лице Овсянникова, вдруг пожелтевшем, проступила боль, а глаза, ставшие тусклыми, смотрели на Никонова и не видели его.

Выражение боли, которое увидел Никонов, не имело никакой связи с тем, что он говорил сейчас. Это была физическая боль. Она мучила Овсянникова последние три недели. И даже не столько сама боль, как подозрения о причинах, вызывавших ее. Сейчас уже, возвращаясь мыслью назад, что он часто делал в последнее время, Овсянников не мог точно установить день, когда это началось. Потому что, когда он впервые обнаружил, что у него болит справа в боку, несколько ниже ребер, он понял одновременно, что эта боль знакома ему. Вместе с болью он обнаружил и воспоминание о ней. Значит, она была и раньше, только он, постоянно занятый, не имеющий для себя ни минуты свободного времени, просто не замечал ее.

В городе жил на покое некогда занимавший большие посты военный юрист Долбышев. Когда он, в прошлом саженного роста, шел по улице, волоча подгибающиеся ноги, весь трясущийся, с повисшими перед грудью кистями рук, а изо рта его стекала слюна, Овсянников, завидев издали, переходил на другую сторону или сворачивал в переулок. Он не понимал, зачем людям дают это видеть? Два раза в день — утром и вечером — Долбышев проходил через город, поводя бессмысленными, в крас-

ных прожилках, мокрыми, некогда грозными глазами. У него был тягучий голос идиота. А не так давно еще очень многое зависело от одного росчерка его карандаша.

Долбышев однажды рассказал Овсянникову, когда был еще не в таком состоянии, как заметил впервые у себя эту болезнь, позже оказавшуюся болезнью Паркинсона. Он шел по улице и вдруг носком сапога задел за камушек. Он еще оглянулся — ровный асфальт, никакого камушка не видно. И тут же забыл об этом. Потом случилось это в коридоре учреждения на паркете: шел и вдруг споткнулся на ту же самую правую ногу, опять задел носком сапога за что-то. И опять ничего не было. Потом это стало повторяться чаще.

Но Овсянников даже того первоначального камушка не мог у себя вспомнить. Правильно говорят: здоровый человек не замечает, есть ли у него сердце. Заметит, когда заболит.

Овсянников не считал себя ни малодушным, ни мнительным. Но он, конечно, не мог не подумать о том, о чем, если случается, прежде всего думает каждый культурный человек в двадцатом веке.

Казалось бы, в таком случае проще всего посоветоваться с врачами. Тем более, что он был прикреплен к обкомовской поликлинике. Но Овсянников отдавал себе отчет и понимал, что если у него это, так тут бессильны даже обкомовские врачи. Они могли только определить, но не вылечить. За ту грань их земное могущество уже не простиралось. Они даже не скажут ему, как всегда в таких случаях не говорят больным. Они тайком подготовят жену, а для него сочинят утешительную сказку, и он уйдет одураченный и обнадуженный. Сколько за эти годы видел он обреченных людей, которые, придя от врача, радостно рассказывали окружающим одну из оче-

редных сказок, убеждая других для того, чтоб убедить себя, а окружающие знали уже, что у них — рак! У Овсянникова достаточно было мужества, чтобы избавить себя хоть от этого унижения.

И кроме того, пока он не шел к врачу, оставалась маленькая надежда, что, может быть, у него все-таки не это. Пойти — значило и ее убить, последнюю надежду. А она временами разгоралась, когда боль отпускала его. Он просыпался утром и чувствовал вдруг: боли нет. Но он не верил еще, он прислушивался: слишком многое это значило для него. Он делал осторожное движение — боли не было. И пока он одевался, и брился, и завтракал, и шел на работу, и там на работе тоже — он все время различными движениями испытывал себя. Боли не было. И день освещался. Что бы ни делал он, он все время чувствовал: боли нет. Это была его тайна, его собственный праздник, о котором никто не знал. Но люди замечали, как он вдруг прислушивался к чему-то и улыбался хорошей, доброй улыбкой, видя которую, хотелось самому улыбнуться.

И вот когда надежда крепла в нем, когда он, боясь верить до конца, начинал уже чувствовать себя здоровым человеком, боль возвращалась снова и всякий раз сильней, чем прежде. И день мерк, и жизнь меркла, и свет мерк в глазах.

Никонов пришел к нему в то утро, когда после целой счастливой недели, в течение которой уже поверилось, что все кончено и прошло, Овсянников почувствовал боль. В прежнем месте, в правом боку. И сразу настоящее изменилось, а будущего не стало.

Он сидел за своим столом перед разложенными бумагами и вслушивался, закрыв глаза, когда к нему постукались.

— Да! — сказал он, хотя охотней всего сказал бы тогда: «Нет!»

И сквозь боль взглянул на Никонова тем самым смутившим его взглядом. Никонов не знал, что стояло за ним, но по мере того как он говорил, а прокурор неподвижно смотрел на него, ему все больше становилось не по себе.

Там, в боку, было все тихо. Но Овсянников знал, что она там. И затихшая на время боль вновь шевельнулась в нем.

— Ну, я слушаю вас, — с внезапно пожелтевшим лицом сказал Овсянников раздраженно, когда следователь после долгой малоубедительной речи предложил взглянуть на дело под другим углом зрения и сделал паузу.

— Да, да, — заторопился Никонов. — Я говорю, что он действительно останавливался перед чайной. Но остановиться перед чайной — это же еще не значит обязательно пить там. Он показывает, что зашел купить сигарет. И свидетели видели его машину, но не видели, что он пил. А между тем, хотя прямых доказательств нет, всеми принято, как несомненное и твердо установленное, что шофер был пьян. Об этом, не дав себе труда разобраться, писала наша газета, в этом уверены все в городе, и мы сами, даже не замечая того, испытываем давление со всех сторон. То, что нам при других обстоятельствах предстояло бы доказать, мы вынуждены сейчас опровергнуть в лучшем случае.

В этом месте у Никонова было заготовлено несколько исторических примеров величайших заблуждений, в которые впадали не только отдельные личности, но и большие массы людей. Однако прокурор перебил его:

— Какое это мы испытываем давление со всех сторон? Нас что, принуждают к неправильному ведению следст-

вия? — Овсянникову хотелось положить теплую ладонь себе на бок, потому что, как только он стал раздражаться, боль усилилась. — Я никакого давления не испытываю ни с какой стороны и думаю, на вас тоже никто давления не оказывает.

— Да, конечно, — поспешил оправдаться Никонов и почувствовал, что исторические примеры будут невозможны. — Я не о том давлении, чтобы нас вызывали, давали какие-то указания, а о том, которое...

— Хорошо. Продолжайте.

Никонов кивнул и мысленно перескочил еще через несколько пунктов, которые вдруг показались ему неубедительными. Он перешел сразу к показаниям пастуха и прицепщика. Здесь он чувствовал себя особенно твердо и потому приберегал их напоследок.

В их показаниях, по видимости неопровержимых, он уловил слабое место. С самого начала ему непонятно было, что могли в такой поздний час делать в поле эти двое совершенно разных по возрасту людей, из которых один другому в отцы годился? Куда они шли и что объединяло их? И он установил это: оказалось, у Молоденкова родилась дочь, и вот это событие праздновалось.

— Вы понимаете, Владимир Михайлович, они были пьяны. Или, по выражению Молоденкова, «оба веселые». А раз это так, они не могли чувствовать запаха водки от Карпухина. Это же известно: если человек выпил водки, он не чувствует запаха водки от другого человека. Вы понимаете? А это значит, что их показания недостоверны!

— Значит, свидетели были пьяны. Ну, а инспектор ГАИ? Он что, тоже был пьян? Он ведь с ними не праздновал.

— Нет, инспектор, конечно, не был пьян. Но легко представить, как было. Он подошел к Карпухину, когда

Молоденков и Чарушин держали его. Водкой пахло от них, но запах был так силен, что инспектору все сразу стало ясно. Ясно потому, что он уже подготовлен был к этому выводу всем предыдущим. Цепь его рассуждений очень проста: шофер сбил человека, убежал, чтобы скрыть, что был пьян, пойман, пахнет водкой. Вполне понятно, что пахнет от него, тут и проверять нечего. А как раз это и надо было проверить.

— Ну, а пассажиры проезжавшей машины, посторонние люди, один из которых плюнул на вашего Карпухна? Они почему утверждают, что он был пьян?

— Владимир Михайлович, в таких случаях одному стоит сказать, и для всех становится несомненно. Это как очевидцы, которые искренне верят, что своими глазами видели то, чего никогда не было.

— Давайте все же подведем итог. А то так можно бесконечно. — Овсянников начал загибать пальцы на левой руке и, взглянув на них, увидел, что они желтей, чем обычно, и на побелевших суставах резче обозначаются кости. И ему жаль стало и эти пальцы свои, из которых уходила жизнь, и себя. Но он справился. — Давайте по порядку. Значит, так: шофер выехал из дому в дальний рейс и, проехав милицейские посты, останавливается у первой же чайной, но не для того, для чего вообще останавливаются около чайных, где, как мы знаем, есть все, кроме чая, а для того, чтобы купить папирос. — Он посмотрел на Никонова. — Допустим. Хотя проще предположить, что опытный шофер, отправляясь в рейс, взял папиросы из дому или купил их в городе. Далее. Он сбил человека и, хотя тот, вполне возможно, был еще жив, скрылся, не оказав ему помощи. В каких случаях, мы знаем из практики, шофер пытается убежать? Когда он пьян и хочет скрыть это отягчающее

обстоятельство. Во всех остальных случаях убежать самому, оставив машину на месте преступления, согласитесь, просто бессмысленно. Однако нам предлагают думать, что он находился в состоянии шока... — прокурор опять внимательно посмотрел на Никонова. — Допустим и это.

И он загнул следующий палец. Вот так, по пунктам, загибая все новые пальцы, он разобрал доказательства одно за другим. Все то, что Никонов складывал по крупинке, что наедине с собой составляло тайную радость маленького открытия, с чем были уже связаны честолюбивые мечты. И когда Никонов услышал это от другого человека, произнесенное вслух, холодно, со скрытой прощелью, он испытал мучительный стыд. Все выношенное им с любовью показалось сейчас таким необудительным, что он сидел уничтоженный.

— Не слишком ли много допущений? Столько разных людей, и все ошибаются в очевидном случае.

Чувствуя, что это провал, что гибнет, Никонов забормотал что-то о чуткости, о том, что Карпухин уже дважды пострадал безвинно и потому надо быть особенно внимательным к нему, пока у него не надломилась окончательно вера в справедливость. Но это сейчас вышло так неловко, что даже прокурор, чтобы не смотреть на него, встал и прошелся по комнате, неся с собой свою боль. Он остановился у старинной печи из крупного кафеля с бронзовой, давно не чищенной отдушиной. Когда-то в доме этом с крепкими стенами и маленькими окнами жил богатый прасол, и теперешний темноватый кабинет прокурора Овсянникова был частью его гостиной, которую разделили перегородками, что особенно заметно было по потолку, где они перерезали лепные, уже неясные от многих побелок украшения.

Заложив руки за поясицу, Овсянников прислонился

ладонями к кафелю. Но тут же отстранился: холодное прикосновение отчего-то было ему сейчас неприятно.

— Это ваше третье дело? — спросил он.

— Третье... — сказал Никонов. Весь потный от стыда, он сидел глубоко в кресле, спиной к нему, не смея повернуться.

Молчал Овсянников долго, словно судьбу его взвешивал на весах, и ждать было невыносимо. А когда заговорил наконец, голос, против ожидания, был печален и мягок:

— Вам, наверное, показалось, что это одно из тех дел, которым суждено прошуметь и войти в учебники? А это обычное дело, ясное уже с самого начала. Третий раз судят преступника — и все не виноват! Да не бывает так, вы уж опыту моему поверьте. Раз не виноват, два не виноват, а чтоб и третий раз все безвинно — не бывает! Я понимаю, вас увлекла идея защитить невиновного, одному пойти против всех. А как уж она возникла, идея-то эта, сразу и факты сами под нее выстроились. Вот ведь что! Вы не думайте, что я не понимаю. Я понимаю: вы, молодой человек, пришли ко мне, рискуя навлечь на себя неприятности, быть может, выговор получить. Что ж греха таить, бывает и так, что свой выговор дороже чужой жизни. А вы вот не побоялись. Я это понимаю и ценю. Только идея ваша, сама по себе правильная, к этому случаю неприменима. Вам защищать хочется? Защищайте! Только того, кого следует. Защищайте не преступника от справедливой кары, а общество от преступника. Вот что нам с вами доверено. И в этом наш высокий гуманизм.

В маленьком городе этом, где телефоны стояли главным образом в учреждениях, а остальные, личного пользования, все были наперечет, так что абонентов вызывали

не по номерам, а просили телефонистку: «Соедини-ка меня, Маша, с Петром Васильевичем», любая новость тем не менее распространялась с быстротой мысли, на какую современная техника пока еще не способна.

Никонов только вышел от прокурора, так что захотел Овсянников, и то не успел бы никому ничего сказать, а в городе уже всё знали.

Пройдя не больше квартала, встретил он на улице жену Мишакова, Тамару Васильевну Мишакову. Руководительница одного из четырех детских учреждений — детсадов — она была известна в городе не только по мужу, но и по себе. Женщина видная, она часто присутствовала на совещаниях — и в роно, и в райисполкоме, приглашали ее и в райком партии — и везде она умела выступить и, если надо, со всей принципиальностью поставить вопрос. Она шла сейчас по улице, неся свое горе, как укор, и на поклон Никонова головы не повернула. Но шагов за десять остановилась вдруг:

— Если вы будете защищать этого убийцу... — Голос ее задрожал, а губы и нос мгновенно покраснели. — Этого убийцу, от которого дети остались сиротами... С вами в городе ни один честный человек говорить не станет!..

Никонов почтительно перед ее горем наклонил голову, но сказать попытался с твердостью:

— Я никого не защищаю, Тамара Васильевна, но я по долгу службы обязан установить истину и не могу при этом руководствоваться чувством мести.

В тот же день его остановил на улице бывший инструктор райкома Авдюшин.

— Нехорошо, — сказал он поначалу как бы доверительно.

Из магазина шла девочка в ситцевом платье, неся перекинутую за спину сетку с буханками хлеба, которая

врезалась ей в плечо. Девочка остановилась послушать, босой ногой сгребая теплую пыль на дороге.

Два маляра в штанах, будто кожаных от многих слоев масляной краски на них, тоже остановились послушать в своих шапках из газеты.

Рыжий теленок, до этого чesавший лоб о вбитый в землю железный шкворень, к которому он был привязан, потянулся к сетке на запаха хлеба, но веревка не пустила его.

Заметив, что народ собирается и что Никонову это особенно неприятно, Авдюшин заговорил громче:

— Выходит, дави людей, и ничего тебе за это не будет? Так получается? — И строго поднял длинный суставчатый палец над ухом, словно призывал вслушаться в то, как это может прозвучать.

— А вы не думаете, как прозвучит то, что вы пытаетесь сейчас оказать на меня давление? Об этом вы не думаете?

Но Авдюшин знал первое правило всякой дискуссии, делавшее человека непобедимым: не слушать вовсе, что тебе говорят, а говорить самому. И хоть бы его на час прервали, он начинал всегда с того же самого места, где кончил, словно бы ничего между этим не было сказано.

— Нехорошо, — сказал он. — Негоже!

И ушел, покачивая головой, тем самым выражая не просто свое личное мнение, но выражая в своем лице официальное неодобрение. Зрители остались на его стороне, поскольку говорил он вещи, понятные каждому: чего ж хорошего, если будут на улицах давить людей?

Только старуха, которую посадили на лавочку за ворота сторожить зимние вещи, развешанные на бельевой веревке от забора до тополя, сама в валенках и зимней невыбитой еще шубе, озябшая и в летний день, все так же безучастно подставляла слепые глаза солнцу.

Чтобы делать какое-либо дело, надо быть убежденным если не в справедливости, то хотя бы в нужности его. И убеждение это вскоре пришло к Никонову. Он пережил день, который, казалось, и пережить невозможно от позора. Он пережил ночь, когда хотелось зажать лицо ладонями и застонать. И он стонал, и ворочался, и вскрикивал — так он был противен себе даже во сне.

Но долго быть себе противным человек тоже не может, если он остается жить. Рано или поздно это перенесется на других. И когда в следующий раз Никонов увидел Карпухина, он заметил в нем те неприятные черты, которых не замечал раньше.

Карпухина ввели, и он, как только дверь закрылась, улыбнулся дружески и ожидающе. Словно они теперь уже были заодно. И, едва сел, сразу же потянулся за сигаретами, сказав только: «Можно?» Почти как за своими. Никонов исподлобья глянул на его руку, тормозившую пачку с сигаретами, но ничего не сказал. Карпухин закурил.

Он курил, глубоко затягиваясь, выпуская дым толстыми струями через нос, и, обхватив руками колено, смотрел на Никонова и ждал.

И на какое-то мгновение Никонов малодушно заколебался — так трудно было переступить через эту улыбку, через этот взгляд, с доверием обращенный к нему, через все то, что уже установилось между ними.

— Ну вот, маленько надыхался, — сказал Карпухин, гася в пальцах крошечный окурочек и снова взглянув на пачку с сигаретами. Однако еще попросить не решился, а Никонов не предложил. — С вечера не куря. Аж ночью снилось. Будто курю «гвоздики», затягиваюсь, а накуриться не могу.

«Интересно, что он обо мне в камере говорит? — подумал Никонов. — Наверное, рассказывает, как попался ему следователь-дурачок».

И, подумав так, он переступил в душе то, что трудно было ему переступить.

— Скажите, Карпухин, — спросил он сухо, при этом с деловым выражением перекладывая бумаги на столе, без которых он сейчас все еще не решался остаться, словно боялся почву потерять, — как получилось, что вы бросили человека, сбитого вами?

— Да я ж ведь говорил уже, — сказал Карпухин, удивленный его голосом.

— Нет, ну все-таки непонятно. Ну вот я бы на вашем месте... Или кто-либо другой... Вы сбили человека. Что должен сделать шофер первым делом? Доставить пострадавшего в больницу. Так? — И Никонов впервые глянул ему в лицо. Твердо, неприязненно.

Карпухин молчал.

— Так, я вас спрашиваю?

Но Карпухин молчал и теперь. Опершись локтями о расставленные колени, он сидел, опустив стриженую свою голову. Она и стриженная уже начинала лысеть, и не со лба — с затылка. Значит, не от ума большого, от забот.

— Тогда я за вас скажу: «Так!» — И Никонов даже жест сделал.

Он помогал разгореться гневу в душе, это сразу освобождало от многого.

— Ведь вы же фронтовик, вы воевали. Вы знаете, бросить раненого и убежать самому, спастись — это предательство. Сколько людей предпочло смерть, погибли сами, но раненого не бросили. А вы бросаете вами искалеченного человека, бросаете одного на шоссе, беспомощного, и пытаетесь скрыться. Вместо того чтобы помочь

сму. Вы сами взгляните со стороны, взгляните на этот факт. Как назвать его? Или у вас все же были причины, побуждавшие вас временно скрыться.

— Мертвый он был, — сказал Карпухин глухим голосом.

— А вы откуда знаете? Вы что, врач? Врач, я вас спрашиваю? — напирал Никонов, знавший по результатам вскрытия, что смерть наступила мгновенно. Но он знал также, что Карпухин знать этого не мог. — Вы что, врач?

Голос его, одолевший колебания, теперь был крепок и взгляд пристален. И вот этим пристальным взглядом смотрел он на Карпухина, словно лучом в лицо его светил, до бледности серое. В лицо преступника. Да, преступника! Не такой уж он безгрешный, как Никонов представил себе. Может быть, когда-то действительно была допущена в отношении него несправедливость. Возможно... Этого Никонов не хотел у него отнимать. Но чтобы после стольких лет, после всего, что он там видел и испытал, он остался таким же, как был... Да если он не был преступником, он им за эти годы стал!

— А раз не врач, как утверждать можешь? А вот вскрытие показало, что сбитый вами человек был жив и находился в состоянии шока, из которого его срочно надо было вывести. Окажи ему в тот момент немедленную помощь, он бы, может быть, жив остался. А вместо этого — сироты...

Серое в сумеречном свете лицо Карпухина стало еще бледней. Не от испуга. Он понял. Он все понял. Четче обрелись скулы. И словно издали взглянув на Никонова, он тихо так покачал головой. И улыбнулся бледными, сухими губами. Будто его жалеючи. Будто хотел сказать: «Эх, ты-и...» Но не сказал.

И вот этот взгляд его, это «эх, ты-и...», вслух так и не сказанное, суждено было Никонову носить долго. Но это после. А сейчас он боролся. Даже жена в эти дни, даже тещь начали по-новому смотреть на него, словно бы робея, замолкали, когда он входил.

Никонов вызывал новых свидетелей, заново вызывал тех, кого допрашивал уже. Работал с упорством и ожесточением, словно не себе только, но и Карпухину хотел доказать.

Буфетчица Бокарева приехала по жаре за восемьдесят с лишним километров. Ехать было ей недосуг: в буфете она торговала одна, никого к стойке не подпускала — и теперь, уехав, беспокоилась за ящик водки, полученной только вчера, и за две бочки жигулевского пива. Приедешь, а полбочки уже нет. И спросить не с кого. Какой теперь с мужиков спрос? Прошлой осенью легла она в больницу, как раз тоже ящик водки целый оставался. Так она его Прошиным на сохранение снесла. Уж, кажется, люди самостоятельные, дом свой каменный, крышу недавно цинковым железом покрыли, корыта во всех магазинах скупали, аж за сто километров ездили. Можно верить. А вернулась — отреклись. Какой ящик? Какая такая водка? И пришлось ей самой же за все платить. Из своих кровных. И вот теперь тоже, поехала по чужим делам, а к чему вернется — неизвестно. Да и правду сказать, при ее работе не любила она эти повестки, ни в прокуратуру, ни в суд.

Но шофер попутной машины попался ей малый не промах, всю дорогу пытался обнять и два раза-таки изловчился, обнял, и очень даже умело, за что и получил кулаком между лопаток. И к следователю, хоть и побаивалась, вошла Бокарева веселая.

— Гражданка Бокарева? — спросил Никонов. — Садитесь.

— Бокарева, — сказала она и села с достоинством. Но не напротив, куда он ей указал, а с краю стола, можно сказать, почти что с ним рядом. Она была в синем, несмотря на жару, шерстяном жакете с большим вырезом на груди, в белой нейлоновой застроченной кофте, вокруг головы — коса, точно как своя.

— Зинаида Петровна?

— Зинаида, — сказала она с гордостью, при этом оглядывая следователя, — Петровна.

И отметила про себя: «Молоденький...»

Никонов строго объяснил ей, что от нее требуется, сказал, что она должна говорить правду, так как это в интересах следствия и в интересах человека, которого сейчас введут. И, говоря все это, он старался не смотреть на ее выступавшую из жакета высокую в просвечивающей нейлоновой кофте грудь, для чего приходилось ему разговаривать с ней, почти отвернув голову. Но и не глядя, он краем глаза видел именно то, что его смущало.

«Поганенький, а туда же», — подумала Бокарева, слушая его с улыбкой превосходства. Ей стало весело. И с этой же улыбкой, словно бы она сейчас в президиуме на вечере сидела, глянула она на открывшуюся дверь. В комнату, пригнув голову под притолокой, шагнул высокий, когда-то, видно, сильный, а сейчас худой человек, и дверь за ним сама закрылась снаружи. И глянул он не на следователя, а на нее сразу же.

И когда она увидела его замученное лицо и он глянул в глаза ей своими словно страданием обведенными глазами, все у нее захолонуло в душе, как от испуга. Словно это она была, а не он. Словно это ее ввели.

— Скажите, Бокарева, вы узнаете этого человека?

Он уже не смотрел на нее, а она все глаз своих испуганных не могла в сторону отвести. Перед ней сидел большой и, видно, смиренный в жизни мужик. И по странному течению мыслей, вихрем сейчас мчавшихся у ней в голове, она подумала, что, встретить она такого, может, и ее жизнь пошла бы совсем по-другому. Всякие ей попадались, а вот хороших среди них не было. И она уж верить перестала, что они есть. Каждый норовил чем-нибудь да попользоваться от нее же. А что бабы другой раз мужьями хвалятся, так это со стыда.

— Может, и видела,— сказала она равнодушно, еще не зная хорошенько, что нужно говорить, чтоб вышло для него лучше.— У дороги стоим, мало ли через нас едут? Кто едет, тот и зайдет.

— А вот четырнадцатого числа прошлого месяца, вспомните, заходил этот шофер к вам в чайную? Вечером. Около девяти часов.

— Вечером?..

А сама смотрела, чтоб он хоть знак какой, хоть намек ей подал. Но шофер как сел, так и сидел боком к ней, сцепив пальцы в пальцы, глядя в пол. И только по желваку его, словно закаменевшему, по мускулу, вздущемуся на виске, она видела, что ждет он ее ответа.

Может, и заходил. Может, и выпил. Может, и сбил кого, как они говорят. Только знает она, видит, что не виноват.

А где они непьющие? За то время, что стоит она у стойки, не видала она непьющих мужиков. Может, и есть где, остались какие-нибудь последние, но ей лично не попадались. Все пьют. И шофера, и начальники. Только одни за свои деньги, а другие бесплатно норовят. Скольким она наливала, скольких поила — так это хорошо, не считает, а то б давно со счета сбилась. Кому с мороза, кому

с устатку. И уполномоченным, и рядовым. А потом вызовут: «Говори правду!..»

— Вечером? Ну да, заходил! — обрадовалась она, как бы в самом деле вспомнив.

— А вы не помните, куда он свою зеленую «Волгу» поставил? Вот трое свидетелей показывают, что она стояла у крыльца.

Но Бокарева почувствовала подвох. Кого-кого, а шофера грузовика она уж как-нибудь отличить сможет. Слава богу, пришлось повидать. Она сложила руки под грудь, и вот так прямо сидя, не поворачивая головы в его сторону, заговорила тонким голосом:

— Зачем же это вы, товарищ следователь, сбиваете меня? Сами велели мне правду говорить, а сами сбиваете? А вот я встану сейчас да уйду. Тогда как? Я еще пока вольная. Вам таких прав никто не давал, чтоб смеяться.

Она до того расходилась, что покраснела даже, в самом деле почувствовав себя обиженной, но в тот момент, когда шофер глянул на нее, успела подмигнуть ему тем глазом, который следователю был не виден: мол, шибко-го не робей, не выдам.

— Зачем это вы мне про какую-то «Волгу» говорите, про зеленую? Подъехал он на грузовой машине, в окно видела, а какая она — некогда мне особо разглядывать, на работе нахожусь. Вот!

И сколько потом Никонов ни бился с ней, а один раз даже пригрозил за слишком вольный язык, она все равно на каждое его слово сыпала десять.

— Чего брал? Колбасы брал. Хлеба еще в дорогу,

— А еще что? Брал еще что-нибудь?

— Может, и брал чего, разве запомнишь?

— А что вы ему наливали? Водку или пиво?

— Вот наливать ничего не наливала.

— Это вы точно помните?

Молчание. Только посмотрела на него, словно сверху вниз.

— Как же вы не помните, что брал, а что не пил он — помните?

— А вот вы постойте на нашем месте, и вы тоже будете знать, который так только поесть зашел, а который выпить. Мы их сразу видим.

Она так и ушла, встав победительницей и гордо вынеся свою грудь.

Свидетель Чарушин, пастух колхоза «Новый путь», пришел выбритый и трезвый. Только руки дрожали немного и оттого, когда брился, порезался в нескольких местах. Хотя в повестке было точно обозначено время, он как встал по солнцу, побрился, сполоснул колодезной водой лицо (а заодно уж, поскольку новую рубаху надевал, — и шею свою морщинистую с пучком седого волоса под кадыком, куда бритва почему-то не доставала), так и вышел пораньше. По деревне шел он посреди улицы, одинаково видный и с той и с этой стороны, как начальство. Коров давно уж прогнали без него, а он шел один, сам по себе, в новых, ни разу еще не чищенных ботинках, которые перед тем, как обувать, рукавом пиджака протер. И фуражка серая, хоть и не сегодня купленная, была тоже новая, с невынутым картоном, и сидела на нем точно так, как в магазине на полке лежала. И костюм совсем еще хороший, какой теперь даже и не купишь. А рубаху белую в синюю полоску старуха сама шила и, чтоб лишнего матерьяла не тратить, воротник скроила из остатков, так что полосы не вдоль вышли, а поперек.

— Вспоперек еще ишь лучше! — кричал он по этому поводу, когда на него рубаху примеряли, и норовил руками махать, а она видела, чего он такой веселый, чего выдабривается, да уж не стала замечать.

В деревне в этот час кто в поле уже был, кто по хозяйству, только он шел одетый, словно в праздник, и люди видели, что идет Чарушин в суд, куда его специальной повесткой вызвали.

Но хоть и вышел он поздно, и шел не спеша, в городе еще часа полтора пришлось ждать, пока учреждения откроются. Потом ему сказали еще в приемной перед дверью посидеть, и он, сидя на деревянном казенном диване, выкурил папироски три, не меньше, оттого что в сон кидало.

В это время следователь Никонов подобрал еще двух человек, по типу, по возрасту и даже по одежде примерно подходивших к Карпухину. Один из них был тоже шофер, другой тракторист, взял их Никонов в чайной, и они, узнав, в чем дело, шли за ним, бодря себя шуточками и чего-то вроде стесняясь, хоть самим и любопытно было.

Так что, когда Чарушина позвали, в комнате, кроме понятых, сидели на лавке против стола следователя трое, и одного из них сказано было ему опознать. Справа сидел Степка Арчуков, Нюрки-фельдшерицы муж. Редкий день, когда Чарушин не встретит его на улице. А слева, к двери ближе — Федька Громов, по двору — Гулюшкин. Бабка еще ихняя, когда молодая была, попала под дождь, да и скажи: «Промокла, как гулюшка». С тех пор и прозвали Гулюшкой. И сколько их есть — все Гулюшкины. На улицу выйдут, ребятишки кричат: «Гуля, Гуля, Гуля, Гуль, я посыплю, ты поклюй!..» Сам Федька сейчас в поселке живет возле кирпичного завода, кирпич возит, а все равно, хоть за тридцать километров уехал, и там Гулюшкиным зовут. Чарушин, войдя, хотел было поздороваться,

но оба глядели на него, как незнакомые, и он не поздоровался, поняв, что так надо.

Ну, а третий, в середке, худой, желтый, небритый — тот самый и был, какого ночью поймали. Чарушин сразу на него указал. Все по порядку занесли в протокол.

После этого следователь оставил Чарушина с собой один на один и велел снова рассказать по порядку все, как было. И Чарушин рассказал, как они шли с прицепщиком, тоже Федькой, только не Громовым, а Молоденковым, а тут этот бежит (Чарушин кивнул на то место, где только что сидел Карпухин). Они и схватили его.

— А почему вы решили, что его надо хватать? — спросил Никонов.

— Так ведь бежит же.

— Так... Ну дальше.

— А чего дальше? Повели. Откуда бежал, туда и повели.

— Ну и что он, вырывался?

— Ясное дело, вырывался. Человека когда схватишь, обязательно вырывается.

— Значит, вы схватили его и повели. А он пытался у вас вырваться. Дальше.

— Да как разве ж вырвешься у Федьки Молоденкова? Этот здоровый дуrom. И прием знает. Сразу заводит руку назад по самый затылок, где ж тут вырваться? Покорился. А после заплакал даже.

И только сейчас, сказав, Чарушин вспомнил, что человек, которого они тогда схватили ночью и вели, взрослый, здоровый мужик, действительно плакал и о чем-то просил их. Но о чем, Чарушин сейчас не помнил. И впервые он почувствовал некое смущение.

Сколько раз он уже рассказывал людям все с новыми и новыми подробностями, как они тогда с Федькой Моло-

денковым поймали этого шофера, который, не будь их, наверняка ушел бы, и всегда Чарушин сознавал себя при этом героем, и люди в глаза хвалили его. И сегодня утром, когда он шел по деревне, вызванный в город повесткой, которую ему лично под расписку вручила почтальон, он сознавал себя человеком, делающим нужное, для всех важное дело. А сейчас впервые как бы засомневался в правильности и нужности того, что он делал.

— Вы говорите, он плакал? Угу... Это очень важно.

И Никонов стал что-то быстро записывать. А Чарушин смотрел, как он пишет, с недоверием и даже враждебно.

— Так! И при этом вы заметили, что задержанный вами шофер пьян! — сказал Никонов, дописав фразу и перечтя ее.

Чарушин молчал.

— Вы меня слышите, Чарушин?

Чарушин пожал плечами так, словно у него под лопаткой чесалось.

— Постойте, Чарушин, что вы мнетесь? Это ж не я заметил, это вы заметили, что он пьян. Так чего вы теперь жмете плечами?

— Кто его знает...

— То есть как, «кто его знает»? Я не кого-то, я вас спрашиваю.

Никонов пристально глянул на него, потом полистал дело и нашел его прежние показания:

— Вы грамотный?

— Сам себя расписываю.

Никонов перевернул лист.

— Ваша подпись?

— Должно, моя.

— То есть как «должно»? Ваша или не ваша?

— Ну, моя...

— А вы без «ну». Ваша или не ваша?

— Ну, моя, стал быть!

Никонов посмотрел на него. Глаза его говорили многое, но он сдержался и ничего этого не сказал вслух.

— Значит, ваша подпись... А показания это ваши или не ваши? А ну, читайте, я вам помогать буду.

Он повернул папку к Чарушину, а сам, водя пальцем, читал перевернутые строчки. Это были те показания, которые дал Чарушин в ночь происшествия.

— Вы давали эти показания?

— Мы.

— Так, значит, пьян был задержанный вами шофер или не пьян?

— Пиши — пьян!.. — и Чарушин, сморщась плаксиво, махнул рукой.

Обвинительное заключение было написано на нескольких листах. Дописав его, поставив точку, Никонов расписался: «Если мы ошиблись, суд нас поправит».

Глава VI

И пришел давно ожидавшийся день, когда в самом большом зале городского суда при небывалом стечении народа было произнесено громко:

— Встать, суд идет!

За многие годы службы это торжественное: «Суд идет!» предвещало его выход не сто, не двести и уже не тысячу раз, но судья Сарычев и сейчас при этих словах, как всегда, почувствовал значительность момента. Открылась небольшая дверь в стене, окрашенная под дуб, и он вышел из нее навстречу поднявшемуся залу. Все эти люди, встав-

шие при его появлении, встречали его на улице ежедневно, знали в лицо не только его, но и его жену, детей, знали, чем и как они живут, но сейчас, стоя навтыяжку, а в задних рядах — вытягивая шеи, они разглядывали его словно впервые.

В коричневом в полоску костюме из дорогого трико — теперь он его донашивал на работе, а когда-то, лет двенадцать назад, когда шил его, материал этот был редкостью, только трем человекам в городе достали из первого привоза, — в синей с галстуком рубашке, Сарычев прошел к своему месту, наклонив голову и хмураясь, как бы скорей торопясь к делу и тем самым снимая торжественность. За ним следовали народные заседатели: заслуженная учительница Постникова, мужского роста, с мужским лицом, и подполковник в отставке Владимиров, мягкий, бритый наголо, смущавшийся до робости. С галантностью военного человека он несколько церемонно пропустил даму в двери.

Сели. Сарычев — посредине, в высокое дубовое кресло с гербом, Постникова — по правую руку, Владимиров — по левую. Спинки их кресел были пониже ростом. За отдельными столиками, уже не на возвышении, а внизу, сели друг против друга прокурор и адвокат — стороны в этом процессе. Вместе с ними шумно сел зал.

За те полтора десятка шагов, которые подполковник Владимиров прошел от двери на глазах у стольких людей, выбритая голова его стала красной и заблестела. В прошлом командир отдельной мотострелковой бригады, не робевший там, где робели многие, он, войдя на возвышение, под устремленные на него любопытные взгляды людей, потерялся настолько, что в первый момент не различал лиц. От этого, когда он сел, лицо его, как у близорукого человека без очков, имело выражение искательное.

Постникова села спокойно и строго, как она в школе садилась за свой учительский стол в младших классах, и в зал посмотрела, словно в свой класс, совершенно уверенная, что и тут не в малом числе окажутся ее прежние ученики.

Ученики ее, бывшие Пети, Маши, Вани, занимали сейчас в городе и самые большие, и самые незначительные посты, и на войну уходили, и с войны вернулись, и собственные дети уже подросли у них, стали взрослыми, но и их дети, и они сами, и, кажется, еще отцы их помнили Постникову точно такой, как сейчас. Уже иная ее ученица, многодетная, потерявшая мужа на войне, давно забывшая, что она женщина, с вылезшими редкими волосами, отупевшая от забот, встретит на улице Постникову и застыдится самой себя, что на вид старше нее стала. А Постникова, всегда мечтавшая видеть своих учеников заслуженными летчиками, полярниками, знатными доярками, передовиками производства, скажет, строго покачав головой:

— Ведь ты у меня лучшая была по арифметике.

И та оробеет, покраснев, словно виновата, что жизнь у нее не такая легкая сложилась, как школьная арифметическая задачка, которые решала она лучше всех. И может поплачет в этот день над тем, что уже не изменишь, да и то вечером, когда выпадет минута на себя оглянуться. А утром жизнь опять потребует свое.

Ровно подстриженная по мочки ушей, с прямыми волосами, на затылке собранными полукруглой пластмассовой гребенкой, в длинном, мужского покроя пиджаке и длинной юбке, в туфлях на низком каблучке с выпершими в бока косточками, в простых чулках, а летом — в школьных носочках, с тяжелой от плоскостопия походкой, Постникова не менялась. Ни годы, ни время не

старили ее. Она носила этот костюм, когда только входили в моду короткие юбки, и когда потом стали носить длинные платья, и теперь, когда уже кончали носить короткое. И невозможно было представить ее в ином и иной.

Она села, подвинула к себе лист чистой бумаги, взяла в руки карандаш — приготовилась слушать. Шевеление стихло, в зале установились первые минуты особенно напряженной тишины. И в тишине этой всхлипнула женщина. Все оглянулись. Это всхлипнула мать Мишакова.

Постникова тут же строго глянула в ее сторону и даже карандаш, обращенный донышком вниз, подняла, чтоб постучать по столу, но почему-то в последний момент все же не постучала, а только неодобрительно покачала головой. Это неодобрительное покачивание, строгий взгляд вовсе не означали, что она сама усмотрела что-то предосудительное в том, что мать всхлипнула, но ей при установившейся торжественной тишине показалось, что председатель суда должен не одобрить это, и она первая глянула в сторону Мишаковой.

Старик Мишаков под ее строгим взглядом сейчас же затряс жену за локоть, испуганно оглядываясь: мол, нельзя, нельзя, люди смотрят... И та стихла, как всякий раз стихала в эти дни, его увидев. Недавно еще прямой, умный, красивый для нее и в старости, он вдруг сразу в дитя превратился и только все путал и пугался теперь, когда им уже и пугаться больше было нечего. Ее же поддерживала та великая сила самопожертвования, которая в горе делает иной раз женщин и мудрей, и тверже, и мужественней мужчин. Ей еще было ради кого жить, она ему была нужна, без нее он бы пропал вовсе. И вот это давало ей силы. Его боль была для нее сильнее своей боли.

Они уже пережили вместе смерть младших своих сыновей. Но те погибли святой смертью на поле боя, как

погибли тысячи сыновей. И тогда они сами моложе были, и у них еще оставался третий сын. Теперь не осталось никого. И погиб он в мирное время, когда бы жить только да жить, детям радоваться.

Сколько раз при жизни сына казалось им, что забыл он их за женой, за своей семьей, за детьми. Бывало, и обижались втихомолку. Но в тот последний час он к ним шел, о них помнил, и вся его жизнь для них была в этом его сыновнем поступке.

А через три человека в том же первом ряду, только с другого края, сидела молодая еще, на седьмом месяце беременная, с пятнами на лице, с напряженной худой шеей и распухшими губами, некрасивая сейчас женщина. К ней то и дело наклонялся, будто отец, седоватый, хоть и коротко постриженный мужчина с двумя рядами ярких орденских планок на лацкане пиджака. Это были жена Карпухина и механик колонны, приехавший по ходатайству защиты. Его вызвали первым. Волнуясь, он заранее покашливал в горсть и правой рукой то и дело перекладывал у себя на коленях левую, высохшую и бессильную руку.

Сам же Карпухин, отделенный от всех и охраняемый, сидел за дубовой загородкой, перила которой до темного блеска отполированы были руками людей, опиравшихся на них при своем последнем слове. И, глядя на него, помятого, с желтым несвежим лицом, плохо побритого, остриженного под машинку, так что заметны стали на голове все бугры и шрамы, охраняемого милиционером, каждому, глядя на него, видно было сразу, что это — преступник.

Пока секретарь суда — молоденькая девушка в белой кофточке и кашемировом васильковом платье, сшитом как сарафан, с комсомольским значком на левой бретельке — чистила промокашкой и пробовала перо за своим столиком, готовясь вести протокол, слышен был в открытые

окна шум улицы, гудки машин, а из коридора, из-за дверей — приглушенные голоса.

Там, на лестнице и в коридоре, а гуще всего у дверей зала толпился народ. Спinoй к закрытым дверям, лицом к желающим попасть в зал стоял милиционер в фуражке, и каждый пытался предъявить ему, безмолвному, какие-то свои особые, преимущественные права, по которым других не пускать в зал было можно, а вот его следовало пустить.

Рослый прицепщик Федька Молоденков, вызванный в качестве свидетеля, стоя близко к милиционеру и гордясь этой своей близостью, гудел:

— Сам я лично, — он особенно упирал на слово «лично» и при этом шепотью стучал себя в грудь, — сроду б сюда не пошел. Это что вот эти толпятся, упрашивают, — Федька кривил презрительной усмешкой свое не очень приспособленное для этого лицо и на всех вместе, не глядя, как бы отрешиваясь от них разом, махал рукой, — мне этого не надо. Меня повесткой вызвали. Нужен буду — позовут.

При всем самоуважении Федьке Молоденкову отчего-то важно было еще и мнение милиционера о себе, чтоб милиционер знал, что он не как все. И он так настаивал, так добивался, что один раз милиционер действительно посмотрел на него и даже как будто улыбнулся, после чего Федька уже на законном основании стал с ним рядом. И если б теперь милиционеру понадобилось отлучиться и он бы оставил Федьку Молоденкова за себя, так тут можно было не сомневаться, что Федька не пустит уж никого: ни кума, ни свата, ни брата. Он и так уже начал от себя, по собственной инициативе не пускать: «Ну, куда, куда, не видишь? А вы, гражданин...» Но гражданин, по виду такой, что и отпихнуть не грех, повернулся, глянул, и

Федька узнал следователя Никонова, который допрашивал его. И милиционер узнал, хоть Никонов был в штатском и, оттеснив всех, сам открыл перед ним дверь в зал.

Никонов вошел, как входит опоздавший, всячески стараясь не привлечь к себе внимания. Кто-то потеснился, он сел, замыкавшийся, сделался невидим и тогда уж огляделся. Вокруг него сидело человек восемь пенсионеров-завсегдатаев. По своим немоцам, иные по глухоте имели они законом ограждаемое право, «полное право», как они говорили, сидеть дома. Но они самоотверженно утруждали себя, другой раз готовы были баней пожертвовать, лишь бы суд не пропустить.

— Здравствуйте, товарищ Никонов,— зашептал ему пожилой пенсионер, сидевший через человека, показывая свое улыбающееся лицо и подмигнув даже: мол, я сразу вас узнал. Но — понимаю, понимаю, можете положиться на меня, как на себя.— Буквинов,— представился он шепотом, совершенно доверительно, словно не просто фамилию свою сообщал, но еще и род занятий.

Лицо его с крупным пористым носом и белой слюной в углах губ было из тех лиц, которые запоминаются не своей непохожестью на другие, а тем, что таких еще сто где-то видел. Никонов улыбнулся ему, и тот, вполне удовлетворенный, отклонился на свое место. И на соседей глянул уже с превосходством: видели, как я разговаривал со следователем?

В то время как Никонов входил, председатель суда вызвал очередного свидетеля.

— Свидетель Бобцов! — прочел он по бумаге и глянул в зал. Сидевший рядом с женой Карпухина механик автобазы вскочил, сделав шаг к столу судей, тихо сказал что-то. Сарычев опять посмотрел в бумагу, показал написан-

ное обоим заседателям, пальцем поманил секретаря суда и ей показал.

— Разрешите, пожалуйста, ваш паспорт.

И все четверо сверили паспорт с тем, что было написано в бумаге, после чего Сарычев покачал головой, а секретарь суда покраснела.

— Ну, вот и разобрались,— сказал Сарычев по-семейному, возвращая свидетелю паспорт,— небольшая, как говорится, техническая ошибка. Значит, товарищ Бобков. Скажите, свидетель, ваше имя, отчество, кем вы работаете на автобазе?

— Николай Ефимович,— не дождавшись конца вопроса, сказал Бобков оттого, что волновался. И повторил официально:

— Звать — Николай Ефимович, работаю механиком колонны. Да.

Сарычев опять поглядел в бумагу.

— Вы являетесь секретарем партийной организации? Бобков кивнул.

— Прекрасно. Так вот, Николай Ефимович... Вас, конечно, уже предупредили об ответственности за дачу ложных показаний? Вы знаете, Николай Ефимович, что должны говорить суду правду и только правду? Распишитесь, пожалуйста, у секретаря.

Механик подошел к столу секретаря, попытался расписаться одной рукой — бумага сдвинулась. Девушка смотрела на него, не догадываясь придержать. Тогда он, чувствуя определенную неловкость в ее присутствии, поднял правой рукой и как груз положил на лист бумаги свою бессильную холодную левую руку. И расписался.

— Ну вот,— подытожил Сарычев, как бы говоря: «С формальностями покончено, слава богу». — А теперь

расскажите нам, Николай Ефимович, что вы знаете по этому делу.

И Сарычев уселся поудобней, тем самым и свидетелю подавая пример не волноваться, а просто рассказать по-хорошему, честно, все как есть.

— Что я могу сказать? — сам вздрагивая при звуках своего голоса и вытягиваясь по-военному, быстро заговорил Бобков. — Карпухина я знаю шесть лет. За эти годы показал он себя хорошим работником.

— Ишь ты! Ишь ты!.. Свой своего выгораживает, — зашептал сейчас же Буквинов, явно не желавший упустить такой возможности — по ходу дела обмениваться мнениями со следователем. — Хоть вор, да мой...

Никонов не ответил и головы на этот раз не повернул, надеясь таким образом избавиться от него.

— Так. Шесть лет знаете подсудимого, — вдумчиво, а на самом деле чисто механически повторил Сарычев. Долгая практика выработала в нем способность и не слушая повторять основные моменты, которые должны быть занесены в протокол.

— Что же дальше?

— Дальше? Работал он честно, с душой работал. Я сам таких людей уважаю, которые трудятся. В нашем деле, сами знаете, другой раз запчастей не хватает, бывает, сутками не уйдешь из гаража. От Карпухина, сколько работаю, слова не слышал. Раз надо — значит, надо! И спорить не станет. Или там уговаривать, как другие: я тебе сделаю, а ты мне выпиши за это... — Механик отрицательно затряс головой. — Уважаю таких людей!

— Работал честно, — опять для протокола, давая секретарю время записать, повторил Сарычев и значительно прикрыл глаза.

— Честно работал! Вот хоть бы Дуся могла сказать, —

он обернулся и указал на жену Карпухина, рядом с которой сейчас было свободное место. — Она у нас мойщицей работает. Когда шла за него, находились несознательные женщины, которые разные мнения высказывали. Мол, девка молодая, а он из заключения... Но мы очень хорошо понимали, никаких таких мнений быть не может. Анкета его в отделе кадров лежит запертая, а жить ей с человеком. Я сам лично ей на это указывал. Скажи, Дуся, указывал я тебе лично?

Но Дуся молчала, только тяжело дышала, открыв рот, так что Сарычев один раз внимательно посмотрел на нее.

А Карпухин, пока говорили о нем, сидел за своей загородкой, опустив плечи, низко нагнув голову. Он был бледен и, чтоб сдержать дрожь, коленями сжимал руки.

И весь напряженный сидел в заднем ряду среди пенсионеров Никонов. Он сам не мог бы сказать, зачем пришел сюда. У него уже другое дело было, которое он вел и о котором ему теперь следовало думать. А это дело — прошлое. Но вдруг в последний момент все бросил и пришел. И чего-то ждал. Словно не одного Карпухина, но и его должен был суд либо оправдать, либо обвинить.

Тем временем Сарычев продолжал вести заседание. Он вел его, как всегда, в доброжелательной, спокойной манере и с той тщательностью, которая в равной степени нужна и для установления истины, и для того, чтобы в дальнейшем ни одна из сторон не имела формального повода опротестовать его действия.

— Значит, вы утверждаете, что лично проверили машину обвиняемого перед выходом в рейс?

— Сам проверял.

— И тормоза были в порядке, и все остальное вы проверили?

— Отвечаю за это!

Вполне удовлетворенный, Сарычев выпрямился в своем кресле, рукой откинул волосы со лба, тихо спросил Постникову, тихо спросил Владимирова — у обоих вопросов не было. Тогда он эту возможность предоставил прокурору.

— Да, у меня вопросы есть! — сказал Овсянников и карандаш свой острием поставил на бумагу. Лицо его было желто, виски втянулись, глаза блестели нездоровым блеском.

— Скажите, свидетель, сколько лет вы являетесь секретарем партийной организации?

— Третий раз выбрали.

— Значит, третий год? Тогда я вам прочту ваши слова. Вот вы сказали: «Анкета в отделе кадров лежит закрытая, а жить ей с человеком. Я сам лично ей на это указывал...» Что вы этим хотели сказать по отношению к обвиняемому?

И своими блестящими глазами Овсянников пристально посмотрел в лицо свидетеля. Бобков отчего-то смутился и оробел несколько.

— Так ведь всего в анкете не напишешь. В ней на каждый ответ одна строчка дается. «Да», «нет» помещаются, а больше места нет. Вот это и сказать хотел.

Сарычеву, человеку жизнелюбивому, скорей ответ был по душе, чем вопрос. Ему не понравилось, как прокурор задает вопросы, по-человечески ему это было неприятно. Дело делом, а люди должны оставаться людьми. Но он ничего не сказал, только под столом нетерпеливо зашевелил пальцами ног в ботинках. На его мясистых сильных ногах любые новые ботинки уже на другой день гнулись, как тапочки.

— А известно вам, за что прошлый раз был осужден обвиняемый Карпухин? За воровство, не так ли?

Бобков засмутился еще больше.

— Какое оно воровство? — сказал он, потупясь. — Дурость была, а не воровство.

Тут уж и Сарычев улыбнулся, как улыбаются детям, когда они по-своему, детскими словами говорят о взрослых вещах. Но судопроизводство, — ничего не поделаешь, — ведется не на милом детском, а на точном языке юридической науки.

— Еще у меня вопрос, — продолжал Овсянников. — Помнит ли свидетель, как полтора года назад на автобазе возникал вопрос об увольнении Карпухина за систематическое появление на работе в нетрезвом виде?

В напряженном зале никто не заметил, как при этом вопросе Никонов весь сжался и покраснел испуганно, боясь оглянуться. Когда-то, на следствии, поверив ему, Карпухин сам рассказал это про себя. Потом Никонов рассказал это прокурору, но только для того, чтобы показать степень чистосердечности Карпухина и в конце концов склонить прокурора на его сторону. И вот это, доверенное ему одному, прозвучало сейчас в зале суда, как обвинение.

— Выгораживал, выгораживал, а вон как его самого за жабры взяли, — зашептал, наклоняясь за спинами, Буквинов. В горле его клокотала непрокашлянная мокрота, так что самому за него хотелось прокашляться. Никонов с ненавистью посмотрел в его светившееся жестокой улыбочкой лицо.

А из первого ряда, сбоку, Тамара Васильевна Мишкова смотрела на стриженный затылок свидетеля и ждала. Сколько слез в эти недели пролила она по мужу, по себе, так, наверное, теперь на всю жизнь ни слезинки не осталось, закаменела вся. Глаза ее были сухи, а лицо горело. Пока допрашивали обвиняемого, пока допрашивали сви-

детелей, она, не сомневаясь, что и судьям с самого начала все ясно, ждала, когда к главному перейдут. А главным, по ее мнению, был суд над преступником. Но этот суд все никак не начинался.

Ее оскорбляло, что с убийцей — ведь все же знают, что он убил ее мужа, — разговаривают вежливо, как с человеком. А она в сторону загородки взглянуть не могла, сердце останавливалось. И самое стыдное было то, как вел себя Сарычев. Сколько раз с мужем покойным в шахматы играл, младшая дочь его Света ходила к ней в детский сад. И вот сидит в кресле, развалиясь, улыбается, шутит, словно бы и горя нет никакого. От кого угодно могла она ожидать, но только не от него. Один прокурор Овсянников, с которым она и здоровалась через силу, на совещаниях только, после того как отец ее делил дом с соседями и отцу присудили меньшую половину, — он только ведет себя принципиально.

А свидетель молчал. Он стоял, опустив голову. Надо было сказать так, чтоб поняли. Ведь вот как спрошено: было или не было? А разве ответишь так? Было-то было, да ведь сколько за тем «было» такого, что не скажешь здесь. Разве ж легкое дело под сорок лет заново жизнь начинать? У людей к этому времени семья, дети, а парню что вспомнить? И весь его дом при нем. Конечно, по службе обязан был и отстранял. И в слесаря переводил. Но то по службе. А по-человечески другой раз позовешь домой к себе, за ужином сам с ним рюмочку пропустишь, поговоришь по душам, по-хорошему. И ночевал у него Карпунин не раз, и жил, случалось, по неделе по целой. Потому что душа у парня настоящая, через все прошел, а человек жив в нем.

— Я что хочу сказать, — заговорил Бобков, со всей убедительностью прижимая руку к сердцу. — Не то до-

рого, что было, а что стало. Вот полтора года, как женился, как дал слово, ни один человек ничего плохого за ним не замечал. Это кого угодно на автобазе спросите.

— Что стало — в этом нам как раз и предстоит разобраться. Но я вам вопрос задал. Свидетель, вам понятен мой вопрос? — повторил Овсянников.

Механик молчал.

Тогда Сарычев пришел на помощь.

— Свидетель, — сказал он мягко, и так же мягко лег грудью на стол. — Государственный обвинитель спрашивает вас, помните ли вы, как полтора года назад возникал вопрос об увольнении обвиняемого Карпухина за систематическое появление на работе в нетрезвом состоянии. Было это или не было?

— Было, — сказал механик, безнадежно вздохнув. И впервые глянул на Карпухина: мол, прости, брат, запутали.

— Я хочу задать последний вопрос. — Прокурор отметил карандашом в бумагах и поднял на Бобкова глаза. — Вы третий год секретарь партийной организации. Вы обязаны хорошо знать людей. Напомню: Карпухин имел в прошлом две судимости. После отбытия заключения, когда ему были предоставлены все возможности честно трудиться, снова заслужить доброе имя и уважение людей, он продолжал вести себя недостойно. И вот совершил преступление, причем у нас имеются факты, что совершил его в нетрезвом состоянии.

В этом месте речи прокурора Карпухин дернулся, хотел сказать что-то, милиционер сейчас же сделал к нему строгое движение, но еще раньше Карпухин погас. Только взял руками свою тяжелую голову и сидел, не подымая ее.

— Так я вас спрашиваю, — продолжал прокурор, тоже

заметивший движение за загородкой, но не повернувший головы, — сходятся ли эти факты с портретом обвиняемого, который вы здесь нарисовали? Или они находятся в полном противоречии? Я спрашиваю, поскольку вы обязались говорить суду правду.

— Я протестую! — поднялся со своего места адвокат Соломатин, слепыми глазами глядя в сторону судьи. Старческие руки его в это время искали очки, оставленные на столе. Соломатину нужно было, чтобы протест его, как возможный в дальнейшем повод для кассации, нашел свое отражение в протоколе, и потому он усилил его небольшой дозой гражданского возмущения.

В зале сейчас же возник стихийный шумок. И тогда раздался стук. Это Сарычев, сидя прямо, стучал карандашом по деревянному краю стола. Уже и тишина установилась, а он продолжал громко стучать карандашом.

— Я буду удалять! — сказал он, одновременно показывая Соломатину, чтобы тот сел. В несложной игре, которую вел адвокат, все ходы были известны ему заранее.

За годы, что Сарычев был судьей, на него никто никогда не обижался. Независимо от исхода дела, который порой нетрудно было предвидеть, он так доброжелательно всегда вел заседание, что обижались на прокурора, на адвоката, особенно если негласно уплатили гонорар вперед, а оправдательного приговора не последовало. Даже преступники, которых он приговаривал к значительным срокам заключения, как правило, не обижались на него: закон строг, а судья хороший был мужик.

— Государственный обвинитель, — сказал он Бобкову мягко, — поставил вопрос в такой форме, что я разрешаю вам на него не отвечать.

Его не смутил при этом открытый, ненавидящий взгляд Мишаковой.

— Вы можете не отвечать, — повторил он.

Однако Бобков, почувствовав поддержку, разволновался вдруг.

— Я что хочу сказать, — заговорил он быстро, словно боялся, что перебьют. — Вот у меня рука левая... — И, подняв другой рукой, показал судьям и залу свою бессильную левую руку, кисть которой повисла. — Вы, может, думаете, я такой с войны пришел? Я с фронта пришел целый. Что было — врачи зашили, под рубашкой не видно. А это я шофером был. В акурат весной тоже, три года назад. Ростепель была, а тут морозить начало. Еще градусник не показывал, а уж по мотору чувствуется. Такой гололед образовался, что не ты машину ведешь, она тебя ведет. Подъезжаю к перекрестку в третьем ряду: троллейбус, автобус, я. Вдруг из-за автобуса человек выскакивает. Я туда, сюда — все-таки поймал его кодами. Судить меня. А пока судить, меня от переживаний, от мыслей от одних удар хлопнул. Вы как это думаете, человека задавить? Конечно, суд меня оправдал, но руку-то уж не воротить. И нога тоже волочится. Я что хочу сказать? Шофер, конечно, виноватый. Его штрафуют — спорить не имею права. А только нельзя так тоже.

Сарычев выслушал и это объяснение, не прерывая, как бы возместив свидетелю моральный ущерб, который был нанесен ему предыдущим вопросом. Затем спросил прокурора, нет ли еще вопросов у него? У прокурора вопросов не было. Тогда он предоставил это право адвокату.

Соломатин, всякий раз близко наклоняясь к бумаге, задал несколько вопросов, которые не содержали в себе ничего, кроме того, что он полностью использует предоставленное ему право.

И вот когда ни у кого вопросов больше не было, когда Сарычев хотел объявить перерыв, с удовольствием пред-

вкушая, как разомнется после долгого сидения, подполковник Владимиров неловко, как человек, который долго собирался, но все не мог решиться и решился в самый неподходящий момент, попросил вдруг позволения задать вопрос. Сарычев только руками над столом развел и улыбнулся: мол, уж вам-то, батенька, было время вопросы задавать, в первую очередь, кажется, право предоставлялось. Но не отказал. И Владимиров, искательно щурясь, сам смущаясь и смущая этим других, так что хотелось глаза отвести, спросил:

— Вот как специалист, как шофер вы сами,— он затруднялся в словах,— вам обстоятельства дела знакомы... Скажите суду, мог он, вот товарищ Карпухин,— тут Владимиров смутился еще сильнее, вспомнив, что подсудимому надо говорить «гражданин»,— мог он быть при этих обстоятельствах не виноват?

И в тоне, каким задан был вопрос, звучало такое явное желание услышать «мог», что Сарычев только головой покачал, а про себя решил сделать в перерыве Владимирову замечание и разъяснить некоторые вещи. Но свидетель понял. И Карпухин тоже почувствовал, что человек этот желает ему добра, и, с волнением выпрямившись, ждал.

— Мог! — сказал Бобков со всей убедительностью.— То есть даже не то чтобы, а просто совсем не виноват!..

Объявили перерыв. Все шумно поднялись, теснясь, двинулись к выходу, сразу же начиная обсуждать.

Бобков сел на свое место рядом с Дусей, ладонью сгреб пот со лба, пристыженно глянул в ее сторону. Что говорил он, что спрашивали — все это сейчас перемешалось у него в голове, и боялся он только, что испортил от неумения, не лучше Карпухину сделал, а погубил. Потому и смотрел он пристыженно, опасаясь встретить укор.

Но Дусе не до него было. От духоты зала, где в летний зной несколько часов подряд дышали вплотную сидящие люди, от волнения сердце у нее колотилось так, что, в целой груди не помещаясь, подкатывало к горлу. И вдруг захлестывало, горячее что-то изнутри приливало к ушам — оглохшая, переставая видеть и сознавать, она раскрытым ртом, распухшими губами хватала воздух. А после вся дрожащая, с мокрыми холодными ладонями она сидела, чувствуя непрошедшую дурноту и как в тумане различая голоса и людей. И ничего-то из происходящего не могла она сейчас понимать — так ей плохо было, что, может, хуже всех.

Она не видела, как Бобков сел около нее, не слышала, что он говорит. Все куда-то пошли, и она тоже поднялась и пошла, чувствуя только тяжесть живота и колотящееся сердце. И вдруг столкнулась, глаза в глаза встретилась с мужем. Он стоял и смотрел на нее. Ждал. И когда она увидела его, то словно поняла вдруг, откуда ей все это мучение и за что.

— Коля! — сказала она таким голосом, что люди, не успевшие выйти в коридор, обернулись в дверях. — Ты же обещал мне! Ты слово дал!.. — говорила она, ему же на него жалуясь, и по распухшему ее лицу из невидящих глаз текли слезы.

Бобков обхватил ее за плечи: «Что ты? Нельзя. Нельзя!» — почти насильно вывел в коридор, милиционер вытеснил последних людей из зала, а Карпухин все стоял, белыми пальцами вцепившись в загородку. Потом он сел, каменно сжав челюсти, кулаками сдавив виски. И все в нем окаменело с этой минуты.

Милиционер, становясь на скамейки, одно за другим поочередно открыл все окна, при этом оглядываясь на обвиняемого, который сидел один. Сделав все, подошел к

нему, потряс за плечо. Карпухин не сразу понял, что от него требуют. Поняв, встал и пошел впереди.

Его провели по коридору среди расступавшихся, с жадным любопытством смотревших на него людей. И в уборной, те, кто курил там, сразу смолкли и смотрели на него все время. А милиционер стоял у дверей, вооруженный. Потом тем же путем его привели обратно.

Спустя время Карпухин почувствовал в кармане что-то мешавшее ему. Это был хлеб, завернутый в потертый клочок газеты, который он принес с собой. И только увидев его, он вспомнил, что надо поесть.

Отдельно, в нише стены, стоял медный чайник с водой и кружка.

— Слушай, друг, подай водички, пожалуйста, — попросил он милиционера. И наверное, милиционер налил бы ему воды. Но как раз в этот момент в зал вернулась секретарь, что-то забывшая на столе. И в ее присутствии милиционер почему-то постеснялся, сделал вид, что не слышит.

Глава VII

Как только объявили перерыв, женщины, у которых всегда дела есть, тут же разбежались, надеясь хоть к концу вернуться. Кому детей надо было накормить, кого хозяйство ждало — женская работа, несчитанная, немеренная, никогда не убывающая, которую между дел делают, торопила каждую. Мужчины же — мыслящая часть населения, — для которых другой раз и покурить — занятие, остались поголовно. И едва вышли в коридор, почувствовали себя на свободе, заговорили все сразу, первым делом схватившись за папиросы. После долгого вынужденного молчания каждый теперь спешил высказать свои соображения. И, понятно, они-то и были самые правильные, и

другого каждый слушал для того только, чтоб скорей иметь возможность сказать самому.

Коридор суда, где в течение нескольких часов громко звучало только «тишшш!», наполнился гулом голосов, табачный дым подымался над многими головами. Судьям еще предстояло вынести решение, предварительно разобравшись во всем и все выяснив. А здесь уже и так все было ясно. И каждый жалел только, что не ему доверено судить, уж тут бы ошибки не случилось.

В группе завсегдаатаев-пенсионеров настаивали:

— Строже надо! Строже оно и проще.

— Это что, как молодежь распустили...

— Раньше просто было, так боялись через закон перелазить.

— Страх потерян. Ему десять лет дадут, он через год дома. Милиция ловить их отказывается: мы ловим, а суд отпускает.

— Вон в Конюшкове трое разом вернулись из заключения, народ вечером боится на улицу выходить.

— И правда, судьи судят, такую статью подводят, что люди смеются, как выходят.

— Вот и я это самое говорю! — втиснулся меж голосов белобрысый парень, переходивший от группы к группе. И, ошеломив всех напором, торопясь, пока никто не успел перебить, рассказал-таки свою историю о том, как сестрино мужа брат купил мотоцикл и врезался в столб.

— Главное дело, завтракать собрались, воскресенье было. Жена еще, как чувствовала, не пускала его, а он ничего слушать не стал, посадил тестя сзади себя: «Жарь, говорит, яичницу, мы скоро». Вот и вышло скоро: мотоцикл аж вокруг столба обвился. В один час — ни отца, ни мужа. Спешили к своей смерти...

— Пьют, пока оузырятся, потом народ калечат,—

сказано было по этому поводу.— Скоро средь бела дня начнут давить.

Тут еще один, к слову же, рассказал, как шофер автобуса в выходной день понасажал полный автобус грибников и с ними со всеми врезался в тягач. Когда про шофера вспомнили — он уж сбежал.

— Ты как, спрашивают, сбежать мог? А я, грит, боялся, убьют меня на месте. Во-он что делают шоферюги!..

И у каждого нашлась своя история, каждому хотелось тут же ее рассказать, поскольку она-то и имела непосредственное отношение к делу.

В другой группе, где собрался народ помоложе, главным образом механизаторы, шоферы, и настроение было миролюбивей. Судили и так, и эдак, сходились на одном: тот не грешен, кто бабке не внук. Только Буквинов, подошедший послушать, не согласился:

— Украл — эту самую руку отрубить. Больше ей не полезет, это уж точно.

Он тоже, как белобрысый парень, переходил от группы к группе со своим полезным советом. Но тут местный журналист, до этих пор куливший молча, возразил ему.

— Между прочим,— сказал он,— юристами доказано, что жестокость еще никого никогда не останавливала. Больше всего, например, карманных краж совершалось во время публичных казней на площадях, когда народ целиком был захвачен жестоким зрелищем. И даже считают, что есть определенная связь между жестокими законами и особо жестокими преступлениями.

— Во-во,— как бы согласился Буквинов и вдруг с яростью, с неожиданно покрасневшим лицом набросился на него:

— А он яблоню под самый мой забор посадил, это как? Прежде межуют, бывало — парнишек на меже секут. Вло-

жат ума в задние ворота, до смерти помнит, где сосед. А он, подлец, под самый мой забор. Ветки ко мне лезут. Детям не запретишь, подберет яблочко — это что может быть? Смертоубийство.

— Да вы про что говорите? — опешил журналист. — При чем тут ваша яблоня? Совсем про другое разговор идет.

— Небось про то про самое. Мы зна-аем... — и Буквинов подмигнул всем с таким видом, словно не только про соседа, но и про него знал нечто. И журналист действительно на глазах у всех смутился, покраснел и замолчал, а старик отошел победителем.

Тем временем в конце коридора несколько женщин водой отпаивали Дусю, жену Карпухина, лежавшую лицом на подоконнике.

Возвещая своим появлением конец перерыва, прошел в совещательную комнату судья Сарычев. Выпив, как всегда, стакан сладкого чая в перерыве, он шел по коридору быстрым шагом, строго нагнув голову, недоступный сейчас ничьим посторонним влияниям, не узнавая даже знакомых, и тем особое внушая почтение.

Проходя мимо, Сарычев мельком заметил суетившихся у окна женщин и среди них опухшее, залитое слезами лицо, которое держали чьи-то руки. Он не сбавил шаг. Где суд, там и слезы, ему ли это было не знать. Для него и коридор суда, в котором толпились сейчас глазевшие на него и расступавшиеся, замолкая, люди, и зал суда, и высокое кресло с гербом, в которое он привычно садился, — все это была его служба. А служба его, как служба хирурга: хочешь быть добрым — по живому режь.

Для нее же, ничего сейчас не видевшей — ни людей, ни стен, — сознававшей, что говорят, неясно, сквозь дурноту, все еще увидится особо. И деревянный крашеный

подоконник, на котором лежала она лицом, запах его, облитого слезами, не раз среди ночи разбудит ее. Этим днем начинался для нее новый счет дням и годам.

У самой совещательной комнаты Сарычев почти столкнулся с Никоновым. Ему показалось, что тот хотел тоже зайти, но увидел судью и словно отскочил, при этом не поздоровавшись. Сарычев вошел, потом все-таки выглянул. Никонова не было видно. И он тут же о нем забыл.

Весь перерыв Никонов выписывал сложные петли у этих дверей. Уходил, снова возвращался, и снова уходил, сам себя объезжая по кривой. Борол, борол в душе желание зайти, но и от дверей оторваться тоже не мог. Словно там, в совещательной комнате, где сейчас находились все бумаги и среди них его рукой написанное обвинительное заключение, оставил он еще что-то большее. Оно-то и тянуло его к себе.

Когда ставил под обвинительным заключением точку, успокоил себя Никонов несложным рассуждением: «Если мы ошиблись, суд поправит». А вот теперь не мог уйти от дверей. Но и туда войти тоже смелости не набрался.

Так со всем народом, затерявшись в общем потоке среди людей, он протиснулся в зал, когда кончился перерыв.

Глава VIII

Вызванные по очереди, один за другим прошли перед судом свидетели. Полный самоуважения Федька Молоденок держался с достоинством, отвечал не спеша, больше всего стараясь себя не уронить. Бокарева, как вошла, как глянула, повернулась, как сказала несколько слов, так мужчины отчего-то заулыбались. И долго еще после нее кто-нибудь нет-нет да и улыбнется, вспомнив.

Последнего по списку вызвали Горобца. Обязавшись

говорить правду, в чем тут же собственноручно и расписался, он категорически отрицал какую бы то ни было возможность вины или ошибки со стороны Мишакова. При этом он искренне убежден был, что делает именно то, что нужно и что от него ждут. Нужно не кому-то определенному, например, судье или прокурору, а нужно в высших целях. По сравнению с ними один этот шофер, которому он лично зла не желал, роли не играет. Каждый вопрос он выслушивал почтительно и, в знак понимания кивнув, приступал к ответу с полным самосознанием, стараясь показать, что он тот человек, на кого они могут положиться, потому что он знает и понимает и сам многие важные вопросы решал. И ушел Горобец со скромным выражением хорошо исполненного долга.

Было далеко за полдень и душно, когда предоставили, наконец, слово прокурору. Овсянников поднялся, опершись о стол, блестящими глазами оглядел зал. Его знобило, хотя он знал, что у него жар.

Сегодня с самого утра он чувствовал себя особенно плохо и, надевая перед зеркалом мундир, увидел, что воротник стал ему велик. И за завтраком жена, тревожно взглядевшись в его лицо, спросила: не болен ли он? Он сказал, что не болен, и даже нашел в себе силы успокоить ее.

При других обстоятельствах, заболел он просто, можно было отложить заседание. Но Овсянников понимал, что ему уже ничего откладывать нельзя, на это ему жизни не отпущено.

Как всегда, путь от дома он прошел пешком, хотя было это ему необычайно трудно сегодня. Боль жила теперь не только в боку, она разлилась, захватив правую сторону живота, и он чувствовал ее резче, когда передвигал при ходьбе правую ногу. Всю ночь, чтобы уснуть, он подсовы-

вал под бок диванную подушку. И вот так, пригревшись, боль как будто затихала немного. Он понимал, что это значит. Это значило, что он побежден. Что он уже старается создать условия, которые ей нужны, чтобы она затихла на время. И вот там, в тепле, она на тем временем развивалась и росла.

Что бы ни испытывали люди, сидящие в зале, каждый из них по-своему, это было ничто в сравнении с тем, что чувствовал он и знал. Ему было хуже всех. Но это давало ему то право, которого не было ни у кого из них. Высшее право. И вот от имени этого высшего права он готовился произнести сегодня свою последнюю речь. Аудиторией его был не только этот зал, он обращался к людям, потому что все, что он делал сейчас, он делал ради людей.

Произнеся тихим голосом первые необходимые слова, обращенные к судьям и залу, Овсянников начал свою речь так:

— Если бы дело это слушалось на автобазе, где работал обвиняемый, и я бы потребовал для него оправдательного приговора, там люди встретили бы это аплодисментами. Если я сейчас, в этом зале, потребую для обвиняемого самого сурового наказания, вы встретите это аплодисментами. Так независимо от того, что ждут от меня, я буду говорить только то, к чему обязывает меня мой долг и мои убеждения. Я взял слово не для обвинения — для защиты. Для защиты общества, вас и даже его. — Овсянников указал пальцем за загородку на Карпухина. — В дни великих потрясений, таких как войны, каждому человеку становится очевиден смысл и значение его жизни. До этого, находясь среди людей и считая себя гражданином страны, он все-таки в глубине души считал, что жизнь его — это в первую очередь его жизнь, и никому она так принадлежать не может, как ему самому. И только когда

нашествие грозит его Родине, человек вдруг видит, что без Родины, без людей, среди которых он живет, его жизнь не имеет ни цены, ни смысла. И в то же время она может обрести огромный смысл, если несет в себе идею своей Родины, идею ее борьбы. Человеку открывается величайшее счастье самопожертвования, и он с радостью приносит свою жизнь, которая до этого, казалось ему, быть может, дороже всех жизней. Но проходит великое время, и эта связь, делавшая неразрывными всех нас вместе, сделавшая нас непобедимыми, как будто исчезает. О ней говорят непрерывно, о ней пишут, но сами мы перестаем чувствовать ее за своими маленькими делами и заботами.

Пересохшие губы Овсянникова уже с трудом шевелились, произнося слова. Секретарь суда быстро налила из графина воды и, подавая ему стакан, снизу взглянула на него с уважением, равным страху. Бледный, желтый, он стоял в своем синем мундире, воротник которого был ему заметно широк, но на больном лице глаза горели сильно и страстно.

В зале такая была тишина, что, пока он пил, слышно было, как стучалось стекло стакана о его передние зубы. И хотя не всем было понятно, что он говорит, поначалу как будто ждали совсем другого, волнение его заражало, и все чувствовали, что говорит он что-то очень важное, отчего вина Карпухина становится еще больше.

Овсянников поставил стакан, платком вытер мокрый подбородок. После перерыва окна остались открытыми и в косых вечерних уже лучах видно было, что стекла их пыльны. День гас. Но для всех это был закат гаснущего дня, а для Овсянникова он был исполнен особого смысла, потому что это был закат жизни.

Люди, сидящие в зале, с величайшим вниманием слушая его, не догадывались, что он говорит не только о Кар-

пухине, он говорит и о себе. С той нравственной высоты, на которую он поднялся, он видел далеко и мог требовать самого большого, даже жертв, потому что сам жертвовал сейчас собою ради людей.

— Здесь с большой тщательностью исследовались все мелкие и даже мельчайшие подробности преступления, — поначалу как бы нерешительно и медленно заговорил снова Овсянников, при этом голос его был тих, чтобы дальше возвыситься. — Я скажу о них после. А когда я кончу, предоставят слово защите. По нашим гуманным законам во всех случаях последнее слово остается за защитой. И вполне можно ожидать, что защитник будет говорить о гуманизме, то есть призывать нас к человечности. Я тоже взял слово, чтобы говорить о гуманизме, о высшем гуманизме и справедливости, как я их понимаю.

Я готов поверить, что в тот роковой день у подсудимого Карпухина были очень серьезные причины для огорчений. И он попытался залить их вином. Мне лично такой способ чужд, но не за это мы сейчас судим Карпухина. Это не было бы преступлением, если бы в таком состоянии он не сел за руль. Что же, все дальнейшее случайно? Нет, случайностей здесь не было. Здесь разматывалась единая цепь событий, связанных между собой закономерно. Нельзя жить в обществе и быть свободным от законов его. А Карпухин каждым своим действием нарушал их. Каждым своим шагом разрушал связи, соединяющие всех нас. Но связи эти не могут быть разорваны безболезненно и, как доказательство, погиб человек, который представлял большую ценность для общества, чем тот, кто преступно убил его.

Так в чем же должен состоять наш с вами гуманизм? В том, чтобы поддаться милосердию к отдельной якобы оступившей личности? Но такой гуманизм будет без-

жалостным в отношении общества. Нет, наш с вами высокий гуманизм — это гуманизм для всех, для общества в целом и потому для каждого его члена в отдельности. И, наказывая Карпухина, — говорил он, имея сейчас в виду не столько уже этого Карпухина, как Карпухина вообще, собирательного, — мы останемся гуманны. Потому что мы не отбрасываем его, а даем возможность задуматься и по истечении определенного срока вернуться в общество и восстановить те связи с людьми, которые сам он порвал. Восстановив их, он снова может стать человеком, и теперь это в первую очередь зависит от него.

Овсянников говорил около получаса, и люди слушали его, не шевелясь. Наконец он кончил, сел. Достав из кармана платок, вытер холодный пот, выступивший на лбу, на лице, на худой шее. Пальцы его, державшие белый платок, были желты, а ногти — синеватые. И рука дрожала. Он допил из стакана остатки воды. Так высок был его нравственный подъем, что даже боль утихла.

Аплодисментов не раздалось потому только, что здесь было не заведено аплодировать в суде, и никто не решился первый. Но в зале стояла глубокая тишина, люди были взволнованы. И даже председатель суда Сарычев почувствовал некоторое волнение. Нда-а... Не совсем обычную речь произнес прокурор. Тут было что-то большее, о чем хотелось подумать. Сообразить, так сказать... И он даже на какой-то момент забыл об исполнении своих прямых обязанностей, не сразу предоставив слово адвокату.

У Соломатина речь была готова заранее и написана. Из участников процесса он был самый старей. Но даже в молодости не блистал он красноречием, а уж теперь и блистать было поздно. Как правило, он вел дела, по которым защитника назначала сама консультация. Он не разил своих противников страстными доводами, не пускался в

длинные рассуждения, а всем своим видом скорбя, просил о снисхождении. И очень часто Соломатин выигрывал дело, быть может потому, что никогда не запрашивал слишком, знал меру.

Он вытер бледные слезящиеся веки, надел очки с толстыми стеклами, отчего глаза его сразу расширились, встал.

— Граждане судьи!..

Пригибаясь за спинами в задних рядах, Никонов поспешно вышел из зала. Без него заканчивал свою речь Соломатин, без него предоставили последнее слово обвиняемому.

Карпухин поднялся за загородкой, которая пока что символизировала то, что ждало его. Губы его двигались, словно улыбнуться хотели, но он молчал и только бледнел все сильнее с каждой минутой, отчего видна стала щетина на лице, выступившая за один день. Зал смотрел на него.

Так ничего и не сказав, он вдруг махнул рукой:

— Да ладно!

И сел, уронив голову.

Суд удалился на совещание.

Глава IX

— Нда-а...— сказал Сарычев, как бы все еще находясь под большим впечатлением, и головой покачал, когда они трое, закрыв за собой дверь, остались в совещательной комнате, где не было ни радио, ни телефона, где никакие посторонние влияния не должны были ощущаться — остались наедине со своей совестью и законом. Он закурил, сел, положив ногу на ногу, а руку с дымящейся папирсой — себе на колено.

— Нда-а... Вот с такой высоты не вредно бывает иной раз взглянуть на дело.

Теперь, дав себе самый короткий отдых, они должны были приступить к завершающему акту: посоветавшись, вынести приговор, которого ожидали толпящиеся в коридорах люди.

— Ну что же, приступим,— сказал наконец Сарычев, вдавив в пепельницу папироску. Писать ему предстояло сейчас много, а день кончался. Он пересел за стол.

— Значит, я полагаю, обстоятельства дела ясны? — сказал он утвердительно после того, как сам вкратце еще раз изложил их. И, раскрыв Уголовный кодекс РСФСР, прочитал заседателям статью 211 — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автотранспорта и городского электротранспорта» — части первую и вторую. Поскольку часть первая предусматривала нарушения, повлекшие за собой причинение потерпевшему менее тяжелых или легких телесных повреждений и причинение материального ущерба, руководствоваться в данном случае приходилось частью второй. Часть же вторая статьи 211 предусматривала те же действия, но «повлекшие смерть потерпевшего или причинение ему тяжкого телесного повреждения», то есть как раз то, что и имело место в данном случае. И наказывались эти действия «лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового».

Прочитанные без запятых, ровным голосом, действия эти, повлекшие смерть потерпевшего и наказание лишением свободы на срок до десяти лет, странным образом потеряли свой угрожающий смысл, а, наоборот, обрели нечто успокоительное, какой была интонация голоса Сарычева при чтении. Постникова сидела напротив него

прямая, строгая, как совесть, и, когда он кончил читать, кивнула. Сарычев обращался главным образом к ней, о Владимирове как-то забыв, и она всякий раз наклоном головы подтверждала, что понимает его полностью.

— Итак, если бы мы, например, сочли правильным назначить обвиняемому минимальное наказание, закон предоставляет нам это право... — незаметно для себя впадая в стиль и слог прочитанного документа, продолжал Сарычев. — Но, назначая наказание без лишения свободы, мы тем самым, по сути дела, оправдываем действия, повлекшие за собой смерть, оправдываем человека, совершившего их, в данном случае Карпухина.

Тут Сарычев улыбнулся своему допущению, поскольку он не сомневался, что имеет дело с разумными людьми, которые не станут оправдывать того, кто виноват.

После этого он так же убедительно разобрал остальные возможности, которые предоставляет им эта статья. Вплоть до высшего предела, заметив, впрочем, что вряд ли все-таки есть основания руководствоваться им. Хотя это должны решить заседатели, в чем Сарычев намеревался предоставить им полную, ничем не стесненную свободу.

— В нашей профессии, как и во всякой профессии, есть своя «профвредность», — сказал он, и тут давая понять улыбкой, что имеет дело с разумными людьми, которые не истолкуют его слов буквально, а примут лишь как выражение высшей степени доверия к ним. — Нам иногда бывает трудно не видеть в обвиняемом преступника, и потому ваш глаз, свежий глаз, необычайно важен. При этом я хочу еще раз подчеркнуть, что, хотя вы не имеете юридического образования — я, думаю, не ошибся? — и некоторые специальные вопросы для вас могут быть трудны, вы такие же равноправные судьи, наш суд состоит из трех человек.

Все это он говорил, уже начав писать, и когда поочередно взглянул на них, Постникова кивнула с полным сознанием ответственности, а Владимиров сказал: «Совершенно справедливо». И после этого «совершенно справедливо», которое давало основания надеяться, что он все понял, вдруг предложил нечто несуразное:

— Так я думаю, может быть, мы и будем руководствоваться этим самым нижним пределом, раз такой случай специально предусмотрен.

Сарычев положил ручку:

— То есть как?

— Виноват!

— Нет, вы все-таки объясните. Вы же понимаете, надеюсь, мы не можем руководствоваться одними чувствами. Есть закон.

— Совершенно справедливо!

Постникова, хотя и не сказала ни слова, лицо ее полностью выразило все, что говорил Сарычев. И она с немым вопросом, но только неодобрительно взглянула на своего коллегу. Владимиров смущенно молчал.

— Кстати, товарищ Владимиров, я еще в перерыве хотел сказать вам... Обращаясь к подсудимому, вы сказали: «товарищ». Вы же знаете: «гражданин».

— Виноват! — сказал Владимиров, еще более смутившись.

И тем не менее, когда перешли к обсуждению главного, выяснилось, что, несмотря на бесконечные «виноват», он ни на шаг не сдвинулся со своей позиции и продолжает проявлять все то же странное непонимание простых вещей.

— Ну, хорошо! Вам, как неюристу, возможно, не под силу исследовать в судебном заседании все доказательства, квалифицированно обсуждать вопрос о доказанности об-

винения, я понимаю,— говорил Сарычев, набравшись терпения, но «Вы» звучало уже официально, с большой буквы, как пишут в бумагах.— Давайте разберемся просто, как люди, располагающие достаточным жизненным опытом.

Разобрались.

— Ну теперь как вы считаете?

— Как я вам уже докладывал.

Этот мягкий, бритый наголо, смущающийся подполковник в отставке, старающийся в дверях всех пропустить впереди себя и при этом делающий руки по швам, сейчас начинал раздражать Сарычева. Он уже два дела слушал с Постниковой и всегда все было хорошо и не возникало никаких недоразумений.

— Ну хорошо, то, что это была машина Карпухина и за рулем в момент убийства сидел Карпухин, у вас, надеюсь, сомнений не вызывает?

— Никак нет.

— То, что он был пьян и потому совершил наезд, надеюсь, тоже не вызывает у вас сомнений?

— Виноват, это не было доказано.

— То есть как?

— Прошу прощения.— Лицо Владимирова вдруг стало мрачным.— Я человек пьющий. По праздникам. И я не могу в таком состоянии почувствовать запах водки от другого. Свидетели были пьяны, о чем они докладывали нам, и показания их не могут заслуживать доверия.

Сарычев вздохнул с облегчением: только-то и всего!..

— Но, батенька мой! — заговорил он ласково.— Жена... Вы же видели, жена! Она-то своего мужа знает лучше, чем мы с вами? И то у нее сомнений не вызывает. Вы же слышали, как она сказала ему в перерыве? Нельзя... Нельзя.

И тогда заговорила Постникова. Она как бы чувствовала себя ответственной за поведение Владимирова:

— Вы что же, следователю не доверяете? Следователь ознакомился, расследовал квалифицированно, а вы не доверяете?

Здесь уж и Сарычеву стало неловко, и он внес необходимую ясность, смягчив ее голосом:

— Следователю мы можем доверять или не доверять, но на ходе дела это не должно отражаться. Виновным человек признается только в результате судебного следствия. Только суд, то есть мы с вами, можем признать человека виновным или снять с него обвинение.

Однако Постникова этой тонкости не почувствовала и особой разницы тут не увидела. Она доверяла следователю. Она доверяла председателю суда. Она вообще доверяла тем лицам, которые заслуживают доверия, потому что недоверие оскорбительно и недостойно человека. И только тем, кто доверия не заслуживает, она не доверяла. Ей сейчас было непонятно, страшным казалось ей поведение Владимира. И она осуждающе покачала головой.

Владимиров никак не ответил ей, только опустил глаза. И Сарычев почувствовал вдруг, что при всей своей мягкости он не отступит. И в глаза им не смотрит не потому, что не уверен в себе, а оттого, что ему за них неловко.

— Но вы же слушали прокурора. Прокурор для нас тоже участник процесса, решающее слово предоставлено нам, это правильно. Но я видел, вам понравилась его речь.

Владимирову действительно понравилась речь прокурора, и он слушал ее с простодушным интересом. Но он единственно не мог взять в толк, почему она направлена против Карпухина. Тут ему все было непонятно так же, как если бы ему, отцу четверых детей, сказали вдруг, что надо заколоть младшую его дочь, и от этого троим старшим де-

тям станет лучше. Он не только не допустил бы этого, пока он жив, но он и не поверил бы никогда, что троим ее старшим братьям и сестрам станет от этого лучше, что они, приняв такую жертву, вообще останутся людьми.

— Ну, хорошо,— сказал Сарычев, встав и подойдя к нему. Он решился на последнее средство, на откровенность, которой Владимиров не мог не оценить.— Вот мы трое обличены доверием и большой ответственностью. Давайте, помня это, поговорим. Бывают случаи, когда преступление, само по себе не опасное, приобретает особо опасный характер. Это как раз такой случай. За два месяца два случая со смертельным исходом вблизи нашего города. Поймите, если мы неотреагируем должным образом, народ нас не поймет. Повышенная строгость тут не только оправдана — необходима! Но есть еще один аспект. Сейчас газеты пишут о пьянстве, ведется борьба. И вот в самый острый момент такой важной кампании мы вдруг оправдываем шофера, который в пьяном виде... Пстойте, не возражайте мне, я сейчас не исследую все «за» и «против», я говорю в принципе. Вы понимаете, как это может выглядеть? Наш оправдательный приговор в такой момент может прозвучать как оправдание одного из страшнейших пороков. Поймите! Мы можем, наконец, назначить небольшое наказание. Важен сам факт. Воспитательное значение,— он взглядом привлек Постникову, как специалиста.— А если, допустим, мы ошиблись, то остается возможность кассировать наш приговор, и другой, более высокий суд нас поправит. Через несколько месяцев, когда острота кампании спадет, отменят наш приговор.

Это все было настолько ясно, настолько просто, что невозможно было не понять. И, наконец, нельзя было по-человечески не оценить доверия. Все-таки люди во всех случаях должны оставаться людьми.

Но Владимиров вдруг засопел, голая голова его покраснела, и он отошел к окну. Теперь и Сарычев обиделся. Он был не злой человек, но и у него были свои принципы.

— Так вы что же, мнение особое будете писать?

— Если позволите.

Владимиров продолжал стоять, не оборачиваясь.

«Вот оттого-то ты и захряс в подполковниках, когда люди в генералы выходят!» — неожиданно подумал Сарычев, глядя в его спину, еще достаточно молодцеватую, хотя и грузную.

— Но вы понимаете, надеюсь, что приговор подписать вам придется, хоть вы с ним и не согласны? Поскольку мы двое единодушны.

И Сарычев глянул на Постникову. Она кивнула, оскорбленная больше, чем он.

— Тогда пишите! Только не дома придется писать, а здесь, потому что тайна совещательной комнаты должна соблюдаться во всех случаях. И запечатайте в конверт.

— Как прикажете.

И Владимиров присел к краешку стола, того же самого стола, на котором Сарычев писал сейчас приговор, достал свою ручку и начал писать.

В коридорах уже волновался народ, не понимая, что так долго могут репашь судьи за закрытыми дверьми. И уже приговор был написан, а Владимиров все писал на краешке стола. И видно было, как ему тяжело это, как непривычные слова не складываются во фразы. Голова его была красной, он вытирал ее платком, а Постникова и Сарычев ждали стоя. И глядя на его потеющую красную голову, Сарычев с трудом переносил его в этот момент.

Но вышли они в зал все вместе и, пока оглашался приговор, стояли монолитно, плечо в плечо.

После суда жители расходились не спеша, прощались друг с другом уважительно. Некоторые жалели жену Карпухина, многие недовольны были мягким приговором: человека убил, а ему четыре года сунули. Подешевела человеческая жизнь...

Прозрачная вечерняя заря светилась над городом. День кончился. И хорошо было сейчас вернуться домой к тихим занятиям, к семейным делам, к детишкам, обойти хозяйство, каждую вещь привычно встретив глазами на своем месте. А после, пообедав и поужинав одним разом, покурить перед своим домом на лавочке. Вид чужого несчастья всегда располагает к размышлению. И многое примелькавшееся дома, что уже не ценилось, обретало сегодня свою первоначальную значимость и вес.

Вернулись к себе и родители Мишакова: Пелагея Осиповна и Григорий Никитич. Сами отомкнув, вошли в дом, где и огня для них никто не зажег.

Один за другим здесь родились их дети, на этом полу, теперь уже вытертом, который Григорий Никитич, в ту пору молодой, сам стелил из широких сосновых плах, пробовали они нетвердыми ногами делать свои первые шаги... Огромным показался им дом сейчас, нежилой пустотой пахнуло на них из дверей. Но они были живы, и надо было жить.

Вернулась домой и Тамара Васильевна Мишакова. Детей на это время взяли к себе отец и мать, в доме ее никто не ждал. Вещи раскиданы, грязная посуда за много дней на столе, все выхолощенное, как остывшая печь, пахнувшая уже не живым дымком, а холодной сажей. До дня суда она еще ждала чего-то, словно не все кончилось. И вот — все. Надо начинать жить. А как? К любой вещи

руками страшно прикоснуться. И ей, ответственному работнику, умевшему выступить на любом совещании и, если нужно, поставить вопрос, вдруг захотелось завывать по-бабьи, выкричать людям свою боль. Но дисциплина взяла верх, она упала на кровать, лицом в ладони, и никто не слышал, как рвалась и кричала ее душа.

В этот же час на площади, возле церкви, где, возвращаясь с базара, люди ждут на жаре рейсовый автобус, Бобков единственной здоровой рукой подсаживал Дусю на подножку, хлопотал вокруг нее, как отец вокруг дочери. Карпухин оставался здесь на казенном обеспечении, а они уезжали, и ехать им было далеко.

Сразу после суда вернулся домой прокурор Овсянников. Пронеся через комнаты свою боль, он лег на спину на жесткую кушетку в своем кабинете. Жена, теперь не спрашивая, вызвала врача, и, когда вошла к нему, он лежал весь серый, у него даже не было сил говорить. Зато говорила она:

— Так себя отдавать людям! Так себя не жалеть! Какой-то шофер, мерзавец, без тебя его не могли осудить? Ты хоть бы о нас подумал, о детях, обо мне...

Приехавший районный врач в течение трех минут установила острейший приступ аппендицита. Жена и помыслить не могла, чтобы его оперировали здесь, в этой городской больнице, условия которой она представляла себе. Но врач оказалась с железным характером. Ее не смутили ни вес, ни авторитет больного, она сама подошла к телефону и вызвала машину скорой помощи. И вскоре белая с красными крестами машина, оглашая город сиреной, прорвалась, распугивая с дороги кур.

Не обкомовские врачи, которым можно было доверять, не пожилой, известный в городе хирург Иван Харитонович, который — одно уж к одному — оказался в такой

момент в отпуску, а молодой врач, по виду студент, оперировал Овсянникова под местной анестезией. И если за время операции у жены не разорвалось сердце, так, наверное, потому только, что она нужна детям.

Овсянникова положили в отдельную палату с окном в сад. Сделав еще одну операцию — на этот раз двенадцатилетнему мальчику, — хирург пришел навестить его. В каких-то белых полотняных штанах, в белых носках, как у покойника, в белой шапочке и халате с застиранным пятном крови, который надет был прямо на нижнюю рубашку, причем одной завязки у халата не хватало и на спине его закололи иголкой от шприца, с худым лицом, он не производил внушительного впечатления. И вот он делал операцию... Жена оглядела всю эту его одежду почти брезгливо, но одновременно уже с подобострастием и заискивающе.

— Ну, как мы себя чувствуем? — спросил хирург, присев на край кровати и подворачивая полу халата под колено.

— Скажите, доктор, это действительно был аппендицит? — спросил Овсянников, пристально, своим просвечивающим взглядом глядя ему в глаза.

— Конечно, аппендицит, а что же это еще могло быть? — бодреньким, каким-то тонким голосом, при этом фальшиво хихикая, тут же заговорила жена, сидевшая в изголовье, делая доктору страшные глаза и знаки, смысла которых ни он, ни она сама хорошенько не понимали.

— У вас был заслуженный аппендицит, — сказал хирург. — С солидным стажем. В сущности, у вас там сидела бомба замедленного действия, и часовой механизм ее был уже на исходе. Вот мы ее и удалили.

Услышав все эти страшные вещи, жена, вместо того чтобы испугаться, успокоилась. Ей теперь понятней стало,

когда она услышала, что у мужа ее был не простой аппендицит, а особенный. Это примирило ее даже с молодостью хирурга: он молод, но, очевидно, очень талантлив.

Прослезившись, она ваткой смочила Овсянникову сохнувшие губы: после операции ему еще нельзя было пить. Но он отстранил ее руку нетерпеливо.

Он еще не мог осознать происшедшее. Мысленно он настолько свыкся с тем, что скоро его не будет, что ему не просто было теперь вернуться в жизнь. Возвращение было связано с неким стыдом. Словно он принес себя людям в жертву, но жертва эта не только не была принята, но оказалась никому не нужной.

Если сказанное хирургом — правда, он лишился высшего права, которым обладал, и нравственная почва под его ногами начинала колебаться. Ему надо было разобраться в этом, осознать что-то очень существенное.

Хирург откинул одеяло, осмотрел наклейку на ране и, уходя, дал распоряжение сестре принести пузырь со льдом. Она вскоре принесла и, устраивая его на животе, сообщила, что внизу ждет следователь Никонов, просит его принять. Овсянников, следивший за ней глазами, нахмурился. С Никоновым было связано как раз то, что предстояло еще обдумать. И он приказал никого к нему не пускать.

Никонов вышел, не зная куда деваться. Он шел к прокурору сказать то, что понял на суде, исправить, если не поздно, свершившееся. И вдруг узнал, что Овсянникова увезли в больницу. Ему показалось неудобным не зайти. И вот зашел...

Овсянникова хоть операция оправдывала, как оправдывает человека перенесенное страдание. А что оправдывало его?

Люди в городе занимались своими вечерними делами, в домах и на своих участках. Когда он проходил, судья

Сарычев в старых брюках, вправленных в носки, в тапочках, в шелковой сетке, сильно растянувшейся на его смуглом теле с животом, уже перевесившимся через брючный ремень, стоял у себя на огороде, держа в руках шланг. Стучал насос, и вода толчками выбивалась из шланга.

Как же так получилось, что все они, не злые люди, принесли в жертву такого же, как они, человека по фамилии Карпухин? Ведь завтра это же может случиться и с ним, с Никоновым. Не будет его, и вот так же ничего не изменится, и люди вечером выйдут поливать свои огороды... Мысль эта казалась ему непереносимой. Ведь так нельзя жить! И чему в жертву? Они сами, если спросить их, не знают, кому нужна такая жертва? Кому от этого может стать лучше? Но в то же время они не сомневались, что так надо.

И самый виноватый из них, как он думал, был он. Потому что он понимал уже, он знал, чувствовал и тем не менее дал себя уговорить. Сам себя объехал по кривой.

Он шел по городу со своей маленькой бедой, и ему казалось, что ему сейчас хуже всех. Он тоже не знал, как теперь жить.

А вечер садился на поля, закатным умиротворяющим светом пронизан был воздух. И среди полей, вся в извивах, медленно текла речка. Зеленая вода ее в этот час была особенно теплой, и голые ребятишки, визжа от счастья, плескались в ней. И скошенная трава на лугу вновь отрастала.

1965 г.

За обеденным столом, хозяйски расставив ноги в хромовых сапогах, сидит оперативный работник милиции. Он в штатском. Кожаное пальто расстегнуто, концы пояса засунуты в карманы, широкая кожаная спина блестит под электричеством. Здесь же, на обеденном столе, лежит его кепка. Он — официальный представитель власти и пришел сюда, чтобы в двух экземплярах составить акт о внезапной смерти хозяина этой квартиры Куприянова Василия Ивановича.

Хозяин умер. Чужие люди распоряжаются в квартире. Жена и дочь сиротами сидят на диване. Даже вещи в комнате носят отпечаток растерянности. Они сдвинуты в суматохе ночью, когда пытались оказать помощь, и так и стоят на самых неудобных местах. У двери томятся двое понятых: жильцы соседней квартиры. Чувствуют они себя неловко: у людей горе, а тут они, непрошенные свидетели. И только оперативный работник, занятый делом официальным, ничего этого не замечает как будто. Он пишет, медленно составляя в уме фразы. В комнате тишина, слышно только, как скрипит его кожаное пальто, — весь он кожаный, тугой, лоснящийся.

— Так. Значит, смерть наступила внезапно, как вы утверждаете, около трех часов ночи. А точнее?

Мария Кузьминична совсем потерялась:

— Он ведь не жаловался никогда на сердце. И не лечился. Бывало, шутил все: «Я, мать, умру сразу, я детям в обузу не буду». А я сердилась на него за это. И вот вышло, как говорил. Кто ж знать мог?

Мария Кузьминична задумалась, глядя в пол потухшими глазами. Но тут же спохватилась:

— Знакомые у нас вчера были. Когда ушли, я посуду

пошла мыть. Гляжу — Василий Иванович приходит на кухню: «Давай, мать, помогу тебе. Молодые — бог с ними». А сам веселый такой, радостный. Я еще подумала: «Шестьдесят ему, а глаза-то какие молодые».

Оперативный работник слушает с человеческим интересом. По должности своей он обязан указать в протоколе, как стоит каждая вещь в комнате, описать все объективно, бесстрастно. Шерстинку заметит на двери, и ту обязан включить в протокол. Но он видит горе этих людей и понимает, что никакой насильственной смерти здесь быть не могло.

— Он и прежде все помогал мне, — продолжает Мария Кузьминична. — Когда первый, Андриюша, родился у нас, он его выходил. Я тогда сильно болела. И вот Лидочку тоже...

— Мамочка, ты не о том говоришь, — с болью за нее прерывает Лидия. Мария Кузьминична испуганно смолкает. — Это было примерно в половине третьего, потому что, когда в три часа приехала скорая помощь, было уже поздно.

— Так. Хорошо. Так... — Оперативный работник молча пишет. — Так. Прошу слушать. Все это надо будет подписать. — Взгляд в сторону понятых. — Так... Это мы уже читали... Так... «На кровати — труп человека лет шестидесяти в белой рубашке...» Это тоже читали... Вот отсюда: «Из вещей в комнате — стол обеденный квадратный на четырех ножках, одна из них склеена, шесть стульев, шкаф платяной двустворчатый без зеркала, этажерка с книгами, диван, покрытый ковром...»

Он доволен, что протокол составлен умело, подробно, с учетом всех формальностей, и это чувствуется по голосу. Во время чтения входит муж Лидии, Геннадий Павлович Назарук. Лидия оборачивается к нему по привычке с на-

деждой: у него связи, он все может. Подходит. На лице ее еще блестят слезы, но выражение уже озабоченное. Для Марии Кузьминичны со смертью мужа ушло из жизни все, для Лидии это горе, которое она, безусловно, переживет и за которым уже сейчас не забывает многие житейские вещи: накормлен ли муж, дана ли телеграмма сестре, оповещены ли знакомые.

— Почему ты так долго?

Но Геннадий Павлович, прежде чем ответить жене, поворачивается к понятным. При его появлении они потеснились, у них чувство, что они всем мешают здесь. Геннадий Павлович не хочет, чтобы люди в его квартире терпели неудобства. Он обходительный человек, он рассаживает понятых, при этом стараясь не мешать оперативному работнику. И хотя тот не читает, а ждет, оборотив лицо в его сторону, Геннадий Павлович все проделывает без слов, одними жестами. Понятые садятся. Спины напряжены, выражение лиц одинаковое. И только Мария Кузьминична далека от всего этого.

— Так! — призывает к вниманию оперативный работник и вновь начинает читать: — «...диван, покрытый ковром фабричной работы, книжный шкаф с книгами, письменный стол...»

С первых же слов Геннадий Павлович делает жене знак: «Тише, мы мешаем», садится, значительно слушает, кивает солидно в такт чтению. Он уважает формальности и вообще порядок и с полным сознанием отдает долг совершающемуся, хотя, видно, не вслушивается сейчас ни в слова, ни в смысл. И есть у него что-то неумовимо общее с оперативным работником.

Послушав так некоторое время, он бесшумно встает, делает знак жене и, ступая под интонацию чтения, как бы все еще продолжая кивать, выходит в коридор.

— Просто не знаю, что делать,— говорит он Лидии, плотно прикрыв за нею дверь.— Конечно, не сейчас об этом говорить. Когда случается такое несчастье, все меркнет,— добавляет он скорбно.— Но ведь все приглашены. Ужасно, ужасно!.. Он так был против этого моего повышения! Я не обижаюсь. Старый человек, у старости свои причуды, внезапные принципы. Ну, Балабанову можно объяснить — он придет на поминки. Этот придет. А вот Анисим Родионович!.. Мы его так просили, он обещал. Просто язык теперь не повернется сказать ему. И главное, все куплено. Все такое скоропортящееся...

— Геннадий!

— Ужасно, ужасно! Когда случается такое несчастье, все меркнет. Ты знаешь, я всегда с большим уважением относился к твоему отцу. Старый член партии, участник гражданской войны...

— Не говори сейчас этих слов, как ты не понимаешь?

Лидия осторожно заглянула в дверь, словно опасаясь, что мать могла слышать. Мать сидит на диване, маленькая, одинокая в своем горе. Лидия вдруг вскрикнула. И тут же вытерла нос и щеки тонким, насквозь мокрым платочком.

— Не представляю, где до сих пор Шура. Неужели она не получила нашу телеграмму? Я что-то боюсь за мать. Ни одной слезы с ночи. Прямо окостенела вся. А Шура, она как-то умеет с матерью. Где она до сих пор?

По мокрому вечернему шоссе мчится к городу районный «газик» с брезентовым верхом. В тот момент, когда он подъезжает к переезду, медленно опускается шлагбаум с красным фонарем. Машина тормозит. Немного погодя открываются дверцы с обеих сторон и выходят из машины Шура, младшая дочь Марии Кузьминичны, и секретарь

райкома партии Григорьев. Подойдя к шлагбауму, они смотрят на мокрые, блестящие при огнях рельсы. Шура от силы двадцать один год. Она в лыжной фланелевой куртке с карманами на груди, в хромовых сапогах, обтягивающих икры, подстрижена коротко. Григорьев лет на десять старше ее.

Поодаль от них у своей будки стоит женщина — стрелочник со свернутыми флажками в руке. Она тоже ждет поезда.

Вот показался паровоз, толкающий впереди себя платформы. Он прошел медленно и, поравнявшись со шлагбаумом, выпустил пар. Померкли огни на стрелках, теплый пар окутал Шуру и Григорьева, словно отделил от всего мира, и они поцеловались.

— Пусть не выпускает пар, — сказала Шура.

А машины, выстроившиеся в очередь и с той и с этой стороны полотна, уже сигналият нетерпеливо и одна за другой включают фары.

— Это нам, — сказал Григорьев.

— Просто они нам завидуют, — сказала Шура.

Они снова садятся в машину, шлагбаум медленно поднимается. На той стороне полотна уже пригород.

Шура стоит на площадке лестницы. Только дверь отделяет ее от горя. И дверь эту открывает Лидия.

— Наконец-то! Мы тебя утром ждали. Ты только сейчас из района?

Она оглядывает Шуру, возбужденную, с глазами, блестящими необычно.

— Что с тобой? Почему ты такая красная? От тебя на версту разит бензином. Ты опять на мотоцикле мчалась?

Даже в такое время Лидия по привычке впадает в

строгий тон старшей сестры. Давно уже самостоятельная Шура с веселым любопытством смотрит на нее.

— Ты получила нашу телеграмму?

— Какую телеграмму?

Все так хорошо на свете, все так счастливо. Вот Шура возьмет сейчас и расцелует Лидию вместе со всей ее строгостью.

— Мы тебе телеграмму послали,— говорит Лидия, все более ужасаясь, что Шура весела.— Ночью отец умер.

И вдруг Шура становится такая жалкая, такая побитая, что даже Лидия не выдержала.

— Папа умер,— повторяет она, как-то стараясь смягчить этот первый удар.

Никого не видя, мимо понятых, мимо Геннадия Павловича и оперативного работника милиции, сразу притихших в ее присутствии, со слепыми от слез глазами Шура идет к матери. Только ее, одиноко сидящую на диване, видит она в этот момент. И даже не за отца, который умер, которого уже нет, не за себя, а единственно ее болью сжимается сердце.

— Мамочка,— говорит она, касаясь ее нежно и ласково.

— Вот мы, дочка, и осиротели с тобой,— не сразу говорит Мария Кузьминична и впервые за это время тихо плачет.

Оперативный работник милиции стоит в нерешительности. В присутствии Шуры, молодой, интересной, он вдруг застеснялся, словно понял, как сейчас неуместны и удачно составленный акт и все прочие соблюденные формальности, когда у этих людей такое горе. Но в то же время полагается, чтобы кто-то из родственников подписал акт. Он даже ручку умокнул в чернила и вот стоит с нею, не решаясь ни Шуру тревожить, ни Марию Кузьминичну.

— Подпишите вы,— просит он Назарука. И когда тот подписал, подписали понятия, поспешно складывает бумаги.

Оперативный работник милиции выходит из квартиры, закрывает дверь, оглядывается на табличку: «К у п р и я н о в В. И.» Затягивает пояс кожаного пальто.

— Все там будем, все,— философски умозаключает он и делает шаг с лестницы. И видно, что он, человек молодой и здоровый, даже отдаленно пока еще не представляет для себя возможности быть «там». Он еще раз на повороте лестницы оглядывается на табличку: «К у п р и я н о в В. И.»

Табличка с фамилией «К у п р и я н о в В. И.» вздрогнула и начала медленно подаваться. Вот лопнула и отскочила эмаль с половиной начальной буквы «К». Визг гвоздей. Мужская рука, поддевшая металлической лапкой под гвоздь, дрожит от напряжения. Это воскресным днем хозяйничает Геннадий Павлович Назарук. Табличка падает. Назарук в свежeweыглаженной рубашке, жилетке, костюмных брюках оглядывает себя — не испачкался ли.

Осенний, ветреный, хмурый денек. Старое кладбище за городом. Невеселая песчаная земля. Под ногами опавшие листья. Они сыры. И воздух сырой. Над старыми кладбищенскими деревьями в шапках гнезд кружится озябшее воронье, крики их в осенней пустоте протяжны.

У осевшей уже могилы, где среди привядших и побуревших цветов видны только что принесенные,— Мария Кузьминична. Спрятав руки в рукава, она сидит на скамеечке, не плачет — смотрит, и думает, и вспоминает. Потом тихо встала, пошла к выходу.

...На лестничной площадке Геннадий Павлович прибавляет к двери табличку со своей фамилией: «Назарук Г. П.— 1 зв.» Любуется, отступая. Из-под новой виден незакрашенный след прежней таблички, отщепленное дерево в том месте, где вырваны гвозди. Прислушиваясь, Назарук деликатно звонит к себе в квартиру. Он даже ухо приклонил, словно камертон слушает. По коридору быстрый приближающийся стук каблуков, в открытую дверь выбегает встревоженная Лидия.

— Это ты? Что же ты звонишь? А я испугалась, думала, уже Грибановы пришли. У меня просто из рук все валится.

Замечает новую табличку и тихое торжество на лице мужа. Смеется, ласкается к нему.

— Но зачем же «1 зв.», когда, кроме нас, никого нет в квартире.

— Ничего, ничего. Это не лишнее. И вообще так полагается.

Обняв жену за талию, он идет в дом. Дверь остается открытой: на лестнице еще надо подмести. В кухне на столах — тарелки с закусками.

— А та буженинка все же была лучше. Эта несколько посуше, попостней. Но и эта неплохая,— говорит Назарук.

По лестнице топот множества ног, радостные крики детей. Когда Назаруки выглядывают, на последнем марше уже показалась девочка лет семи.

— Вам шкаф привезли! — кричит она еще издали, счастливая, что раньше всех донесла эту новость.

— Вам шкаф привезли! — выскакивая на площадку, кричат остальные, каждый стараясь успеть раньше другого.

И, наконец, показался на лестнице карапуз — бедняж-

ка, его все обогнали, он последним карабкается вверх и ревет басом. Он тоже говорит, задыхаясь:

— Вам... шкаф... привезли...

Трое рабочих несут по лестнице новый зеркальный шкаф. В его качающемся зеркале то возникает, то исчезает Лидия. Она идет сзади и командует:

— Осторожней! Осторожней! Заносите верх!

Во всей ее маленькой фигуре — решительность, и жесты решительные, и на лице властные, сильные чувства. Вот такая бывает она в критические моменты жизни.

Шкаф вносят, двигают по полу, оставляя следы, ставят к стене. И рядом с ним прежний шкаф, выдвинутый на середину, кажется обшарпанным, маленьким и старым. Ему теперь нет места в комнате.

Входит с ведром и тряпкой Светлана, дочь Назаруков, девочка лет двенадцати. Она хотела замыть пол.

— Кто тебе сказал? — поражается Лидия.

— Я всегда так у бабушки делала.

Лидия глянула в сторону мужа. Геннадий Павлович — он вытирал пятнышко на полировке, подышав на нее предварительно, — отвечает ей в зеркале таким же значительным взглядом.

— Это хорошо, что ты так приучена, — педагогично говорит Лидия. — Но оставь сейчас же ведро и иди одевайся. К нам сейчас гости придут. А мыть пол мы позовем женщину с первого этажа, Симу. Вот Сима, оказывается, сама пришла.

В дверях стоит Сима, женщина неопределенных лет, с худой шеей. Может быть, ей тридцать, и она только выглядит так, а может быть, ей и в самом деле за сорок уже. Но видно, что она мать нескольких детей и привыкла

ворочать не только свою женскую, но и мужскую работу.

Глядя на Светлану, Сима умильно улыбается: это чтобы хозяйка видела. Весь вид ее как бы говорит: «Что ж вы ручки-то будете пачкать свои».

— Возьмите у нее тряпку, Сима,— говорит Лидия.

Сима берет и отжимает тряпку и все качает головой, удивляясь такой разумности ребенка. Вряд ли в собственных детях подобные вещи поражают ее.

— Просто ужас с этой матерью,— вполголоса говорит Лидия мужу, хотя Светлана еще не вышла из комнаты.— Я тут с ног сбилась. И еще надо привести себя в порядок. Память не в том, чтобы каждое воскресенье на кладбище ездить.

Мария Кузьминична поднимается по лестнице. Она старый человек и идет медленно. И она вся еще со своими думами. Вдруг видит она выставленный на площадку лестницы шкаф, который когда-то они покупали вместе с Василием Ивановичем. Старый шкаф не так бережно выносили, как несли новый, и на нем свежие глубокие поперечные царапины. Она трогает их пальцами, эти царапины. Потом протягивает руку к звонку, как делала много лет подряд, и тут только замечает новую табличку. Даже не ее в первый момент, а непривычные глазу разрушения, отщепленное дерево в местах, где вырваны гвозди. Она долго смотрит на все это. Потом звонит в квартиру, как в чужую.

В тот момент, когда открывается дверь, на площадку поднимаются Грибановы, муж и жена. Оба крупны, особенно со спин. Раздаются радостные, преувеличенно-громкие восклицания:

— Анисим Родионович! Анна Фоминична! Нехорошо, нехорошо!

И Лидия, и Геннадий Павлович оба в полном параде. И в общей суете мать оттирают в дверях, она входит в дом последней, сейчас не до нее.

Она идет в кухню, привычным взглядом хозяйки оглядывает ее и сразу же находит себе работу. В кухне все вверх дном. Лидия не успела прибрать, не успела всего внести в комнату: тарелки с закуской стоят на двух столах, раковина полна грязной посуды, кастрюль. То и дело вбегает Лидия, хватается то рюмки, то тарелки с закуской и убегает опять. Мать она сердито не замечает.

За дверью слышны в столовой голоса, преимущественно голос и смех Лидии, радушной хозяйки. Когда там, видимо после первой рюмки, наступает сосредоточенная тишина, в кухню входит Светлана. Она безразлично идет вдоль ряда закусок — это сытый ребенок, — берет с блюда понравившуюся ей зеленую горошинку, сосет ее, как леденец.

— Света, — говорит бабушка, — хочешь есть, положи на тарелку. Но не балуйся. С едой не балуются.

— Подумаешь, еда! Одна горошина. Мама тут без тебя с ног сбилась. Память не в том, чтобы каждое воскресенье на кладбище ездить, — говорит она тоном матери. Мария Кузьминична вытирает стакан и с сожалением смотрит на внучку.

— А дедушка тебя так любил! — говорит она печально. — Помнишь, косы у тебя начали сечься, он посадил тебя на стул, сам сел рядом на маленькую табуреточку и так по волосику, по волосику все обстриг. Каждый волосочек отдельно. Он уж тогда плохо видел.

— Это когда мы в деревне жили? — с загоревшимися глазами обрадовалась Светлана. — Я помню. Я ему еще книжку читала про Конька-Горбунка, пока он стриг.

Мария Кузьминична гладит по волосам приласкавшуюся к ней Светлану. Она вся сейчас в прошлом.

— Бабушка, ты когда опять поедешь? В воскресенье? — Светлана снизу заглядывает ей в лицо. — Ладно, я с тобой поеду? Ладно?

— Глупенькая ты у меня, совсем еще глупая, — говорит Мария Кузьминична, глядя Светланины волосы.

— Думаешь, мама меня не пустит? Это она только на похороны меня не пустила, чтоб я не волновалась. В моем возрасте вредно волноваться.

Вбегает Лидия.

— Светлана! Где ты? Иди скорей, Анисим Родионович и Анна Фоминична хотят послушать, как ты поешь.

Лидия в ажиотаже, лицо горит. Она обдергивает на Светлане нарядное платье.

— А я не хочу им петь.

— Как не хочешь! Анисим Родионович и Анна Фоминична будут слушать. Немедленно идем.

Лидия за руку тащит упирающуюся Светлану, и уже из коридора слышен ее ликующий голос:

— Анисим Родионович!..

Захлопнулась дверь и обрубилась конец фразы.

Мария Кузьминична остается одна в кухне, перетирает тарелки. Уже все закуски унесены. На их месте грязная посуда. Бабушка вытирает и прислушивается к голосу Светланы, едва слышному здесь. В столовой вдруг раздаются аплодисменты, и сейчас же кричит Лидия:

— Мама, несите чай!

Мария Кузьминична входит с чайником. На столе тот беспорядок, какой бывает, когда люди уже сыты и на еду смотреть не хочется. Анисим Родионович, отвалившись, сидит на стуле, дышит животом, и от никелевой пряжки пояса солнечный зайчик то вспрыгивает на потолок, то

опадает на беленую стену. Он курит и слушает. Против него по другую сторону стола стоит Светлана. Она поет и быстрыми глазами с любопытством оглядывает гостей. Это живой ребенок, умеющий видеть смешное. Родители не дышат. У Анны Фоминичны на красном от вина лице благосклонная улыбка.

Взяв грязную посуду, Мария Кузьминична молча выходит. Так больно ей, что даже не глянула на новый шкаф, ни на что не глянула. Перед глазами — Светлана, поющая в табачном дыму.

Улица перед домом. Уже вечер, зажглись лампочки над подъездами, зажглись фонари. У ворот женщина-дворник, одетая на ночное дежурство во все теплое, в белом фартуке и со свистком. Постовой милиционер, оглядываясь, что-то шепчет ей на ухо. Дворник рассыпчато смеется, мелкие ровные зубы сомкнуты.

Хлопает дверь одного из подъездов. У дворника лицо сразу становится строгим:

— Держите себя официально, — одергивает она милиционера.

У подъезда Назаруки, вышедшие проводить Грибановых.

— Все очень, очень все было хорошо, — прощается Грибанова. — Мы с Анисимом Родионовичем очень остались довольны.

И по многолетней привычке тут же оглядывается на мужа, не сказала ли что-нибудь лишнее. Но Грибанов только крикает, рассматривая носки чужих и своих ботинок.

— Так просто перед вами неловко, — в один голос с Грибановой оправдывается Лидия. — Ровно ничего не

успели приготовить. Он мне в последний момент сказал.

— Мое дело было обеспечить по рюмке чая,— бодрится Назарук.

— Мы с Анисимом Родионовичем остались очень довольны.

Грибанов крихтит, супруга мгновенно умолкает. Молча Грибанов подает руку. Он начальство и потому подает руку первым даже женщине.

— А насчет того, что мы говорили, ты, Геннадий Павлович, подумай. Подумай. Сейчас инициатива требуется. Вот так. Поддержим.

Все это он говорит, держа в своей руке руку Лидии и не глядя на нее.

Проводив гостей, Назаруки возвращаются в квартиру. Лидия идет на кухню. Мария Кузьминична уже кончает прибирать, осталась только чайная посуда.

— Не знаю, зачем все это нужно делать сегодня,— говорит Лидия. Ей все же неловко взваливать все на мать, но вместе с тем спать хочется.— Вполне можно не спеша сделать завтра.

— Я и прежде никогда не оставляла посуду на завтра. Мне уж поздно переучиваться.

— Я прекрасно понимаю, по какому поводу эта демонстрация. Да, мы заводим новую обстановку. К нам большие люди ходят. А у вас вся память в вещах. Мне стыдно было сегодня перед Анисимом Родионовичем...

— Не думала я, дочка, что ты отца своего будешь стесняться. И что они за такие особенные люди? Поели, попили и ушли. Еще кусков на тарелках понабросали вон сколько. Ну, да то их дело. Значит, привыкли так. А вот зачем было перед ними Светлану ломать? Не котенок она. И не обезьяна на веревке. Ей уже двенадцать

лет. А были б они хорошие люди, они б тебе это сказали. И не курили б в это время.

— Вы меня не учите! — вспыхнула Лидия тем горячее, что где-то в глубине души ей стыдно было именно этого случая со Светланой. — Жалею только, что раньше от вас ребенка не забрала. Мы свою дочь не в дворники готовим и не в полойки. Мне хорошо известно, как вы прожили жизнь. Отец — участник гражданской войны, старый член партии, а как был прежде землеустроителем, так и остался им.

— Вот видишь, а он любил землю и от профессии своей не отказывался. Все мы на земле живем, ею кормимся, что ж нам от нее стремиться? Может, не перевели б отца твоего в учреждение, да не навалились там на него все эти неприятности, жил бы он и до сих пор. Ты вот осуждаешь, что отец твой землеустроителем остался, а он свою профессию почетной считал, говорил: «Главное — жизнь на земле устроить к лучшему».

— Вы всегда повторяли чьи-нибудь слова. В конце концов мне это было бы глубоко безразлично, если б вы мою дочь не калечили. Ей еще предстоит жизнь прожить.

И Лидия, возмущенная, уходит в комнаты.

— Просто у меня нервов не хватает с этой матерью, — говорит она мужу.

А у Геннадия Павловича прилив сил:

— Все хорошо, Лидок, все хорошо будет.

Шура Куприянова и Григорьев идут улицей города. Это степной южный город. Деревья разросшимися вершинами касаются окон второго этажа, и Шура и Григорьев идут в этом слабо освещенном туннеле. Под деревьями на газонах белым-бело — цветут распутившиеся к ночи табаки.

— Так за маму душа болит,— говорит Шура.— Одиноко ей там. Он, может быть, и неплохой человек, муж моей сестры. Даже наверняка неплохой. Знаешь, заботливый такой, родственник. Вот в отношении меня он всегда страшно заботлив и бывает даже трогателен. Но не знаю, я б с ним дня не вынесла. А мама у меня тихая, маленькая. Она не только нам, она вообще всем людям мать. Я знаю, ты к ней будешь хорошо относиться.

И Шура снизу вверх благодарно смотрит на него.

— Я совершенно теперь не помню, какой ты был, когда мы первый раз встретились у Фроловых, помнишь? — говорит вдруг Шура.— У тебя был какой-то лоб, какие-то скулы — все совершенно не такое, как сейчас. Понимаешь, это было чужое лицо. И мне в нем что-то могло нравиться, что-то не нравиться, но это было лицо чужого человека. А сейчас я не знаю, красивый ты или некрасивый, я вообще не знаю, какой ты для посторонних глаз. Вот все, каждая черточка сейчас родная, а того, чужого человека, нет, и я не могу его вспомнить.

Шура и Григорьев стоят у подъезда дома. Во всем доме освещены только несколько окон. И горит огонь в окне кухни на втором этаже. Снизу видно, как, развешанное на веревке, наверно над газом, шевелится белье.

— Мама еще не спит,— говорит Шура.

Свет в окне второго этажа гаснет.

— Ну, я пошла,— говорит Шура. Ей не хочется уходить, и она из глубины подъезда еще раз прощально машет рукой Григорьеву.

Тишина в квартире Назаруков. Спящие лица обоих. Но и во сне Геннадия Павловича тревожат перспективы. Он спит беспокойно. В противоположность ему Лидия

полна достоинства. «Можете не волноваться, я себя сумею поставить», — написано на ее лице.

Короткий звонок.

Геннадий Павлович вздохнул, потревожился. Оба сонно повернулись на другой бок.

Мария Кузьминична, только что погасившая свет, снова включает его в коридоре, идет открывать дверь. На пороге — Шура. В светлом платье, женственная, трогательная, она так и светится счастьем. Только любовь делает женщину такой красивой. Мария Кузьминична впервые видит Шуру такой.

Шура вдруг горячо целует мать, говорит шепотом:

— Здравствуй, мамочка.

Когда мы счастливы, мы щедры, нам хочется, чтоб и все вокруг нас были счастливы. И почему-то в это время мы чувствуем себя немного виноватыми перед нашими стариками.

Мария Кузьминична ведет Шуру на кухню и там, взглядевшись еще раз, спрашивает робко, потому что Шура, взрослая и самостоятельная, может уже не посвящать ее в свои дела:

— У тебя радость?

— Радость, мамочка.

Мать берет ее лицо в ладони, целует один висок, целует другой, целует Шурины брови.

— Слава богу. Был бы только хороший человек.

— Он хороший, мама.

— Я не знаю его?

— Нет, мамочка, ты его никогда не видела. Но, может быть, слышала о нем. Это секретарь нашего райкома партии Григорьев. Он папу хорошо знал.

— Слава богу, — глядя в черные стекла окна, говорит Мария Кузьминична задумчиво. И в памяти ее возникает

другое время и они с Василием Ивановичем, такие же молодые, только начинавшие строить жизнь.

...Двадцатый год. Темная изба. Под низким потолком горит керосиновая лампа, фитиль экономно прикручен. Бревчатые стены, печь, лавка, на лавке ведро с водой. За занавеской хозяйская половина. Они только недавно вошли в избу, разделись, положили вещи.

Из-за занавески с глиняной миской в руках выходит хозяйка, шаркая босыми ногами по полу. Наклоненная голова ее повязана темным платком, лица не видно. Она ставит миску со щами на стол, ставит деревянную солонку, кладет черный хлеб, кухонный нож, две деревянные ложки — все это молча. Так же молча уходит.

— Ну вот, Маша, мы и начинаем с тобой жить по-семейному,— говорит Василий Иванович. Он молодой, веселый, полный сил.— Где мы с тобой, там и дом наш. Давай будем ужинать, мы ж еще и не обедали сегодня.

Они садятся друг против друга, зачерпывают по ложке, каждый несет эту первую ложку ко рту. Звон разбитого стекла, от ветра гаснет лампа. В темноте быстрый, властный голос Василия Ивановича:

— За стену стань!

За окном на улице ночной, разбойный свист. Второй камень ударяется в стену. Топот бегущих ног.

Подождав еще, Василий Иванович завешивает окно одеялом, снова зажигает лампу. И еще мрачней кажется изба с окном, завешанным лоскутным одеялом, из которого клоками торчит вата.

На столе — черепки разбитой миски, мокрый булыжник в лохмотьях капусты, рядом с ним кусок еще горячего мяса, от которого идет пар. На пол со стола капают щи.

Мария Кузьминична все так же стоит, прижавшись

спиной к стене. Поглядывая на нее, Василий Иванович завязывает свою пораненную руку, зубами затягивает узел. Подходит.

— Ну вот, Маша...

Гладит ее по волосам. Ткнувшись лбом ему в грудь, Мария Кузьминична начинает плакать навзрыд, плечи, спина у нее вздрагивают.

На хозяйской половине как будто вымерло все.

— Это ничего, это ты просто напугалась,— говорит он и все гладит ее волосы.— Ничего, ничего...

И он неумело говорит ей ласковые слова:

— Ты хорошая, Маша. Я тебе даже так скажу: ты самая лучшая. И ты всегда мне будешь самая лучшая. Ты это знай, Маша. Вот только пугаться не надо. Землю, ее так просто не отдают. За землю всегда борьба. Сколько мир стоит, столько между людьми борьба за землю, за то, как на ней жизнь устроить лучше. Еще и детям нашим хватает достаточно.

Входит хозяйка, все так же шаркая подошвами. Лезет рукой под одеяло, ощупывает выбитое стекло: велик ли убыток? И после, собирая черепки на столе, ворчит:

— Стекла, они денег стоят. Их теперь не укупишь, стекла-то!..

Уцелевший кусок мяса она, оглядев, кладет в самый большой черепок и уносит за занавеску. На мокром столе остается перевернутая солонка, хлеб, одна ложка,— другая, раздавленная, валяется на полу. Есть нечего. Василий Иванович оглядывает стол:

— Ты, Маша, есть-то хочешь? — спрашивает он весело.— Не хочешь? Ну, вот и хорошо. Я тоже не хочу. Я сейчас, знаешь, чайку поставлю. Вот чайку мы с тобой поьем. Ты пока сядь, я лучинок нацеплю.

И он здоровой рукой колет лучину, разжигает костерик

на шестке. Отблеском этого костерика освещено лицо Марии Кузьминичны, подошедшей к мужу, глаза ее, полные любви и благодарности.

— Это я, Вася, не привыкла еще,— говорит она виновато.— Я привыкну. Дай я сама...

Гаснет свет костерика. Гаснет воспоминание. Черное оконное стекло, кухня. На стуле сидит Шура. Теперь она с другим человеком об руку вступает в жизнь.

— Был бы только хороший, легкий человек, и ничего тогда не страшно,— говорит Мария Кузьминична, вздохнув.— Я с Васей жизнь, как день, прожила и всем-то ему в жизни обязана.

Она вдруг спохватывается:

— В твоей комнате Светлана спит, так мы здесь, не будить чтоб...

— А я никуда отсюда не хочу,— говорит Шура, оглядывая стены кухни и улыбаясь им.— Помнишь, как я, бывало, с катка вернусь, все уже спят давно, а ты меня здесь чаем поишь? Давай, мамочка, посидим, как прежде. Ты меня покормишь? Я смертельно хочу есть.

— Сейчас, сейчас,— заторопилась Мария Кузьминична. Она подбирает выше развешанные над плитой, только что выстиранные Светланины платья, школьные передники, зажигает газ.

— Мамочка,— говорит Шура.— Ты будешь жить с нами. И не спорь, пожалуйста, это решено.

Мария Кузьминична стоит к ней спиной. Она, конечно, никуда не поедет от Светланы, но сказанное сейчас Шурой для нее как ласка.

— Не спросила я, зовут его как?

— Федя.

— Федя,— повторяет Мария Кузьминична задумчиво, как бы пробуя на слух это имя.— Хорошо.

Никем не замеченная входит Светлана в белой ночной рубашке до пят и босиком.

— Шура приехала! Шура приехала! — и, прыгнув к ней на колени, изо всех сил душит Шуру. — Опять завтра к своим овцам уедешь?

— Светленькая моя, — говорит Шура, ладонью обтерев ступни ее ног, и натягивает на них подол рубашки: так теплей.

Светлана обиделась даже:

— Что я, маленькая?

— Вон видишь мисочку на полке? — спрашивает Шура. — Так в той мисочке я тебя купала. И ты для меня всегда будешь маленькая. — Она достает из сумочки шоколадку с яркой детской картинкой.

Мария Кузьминична от плиты любитесь на них.

— Вот в этой маленькой? — не может поверить Светлана и совершенно между прочим, как должное, берет шоколадку.

— Ты была еще меньше. К тебе все боялись подходить. Ты была красная и ужасно крикливая — один кричащий рот. А к пяти годам ты переболела всеми болезнями, какие существуют на земном шаре. И когда у тебя подымалась температура, ты вот так жалобно говорила: «Шура, что-то плохо спится». И по целым ночам держала мою руку.

Светлана задумывается.

— А почему около меня сидела ты, а не мама? — неожиданно спрашивает она, стараясь что-то понять.

— Ну, значит, мама была занята в то время, — наплась Шура. — А вообще все почему-то давно спят.

И, подхватив Светлану на руки, она несет ее в спальную; в темном коридоре, удаляясь, мелькают на весу белые Светланины ноги.

Утро в квартире Назаруков. Геннадий Павлович в трусах делает гимнастику: приседает под радио.

— Раз, два, три, четыре,— диктует радио.

«Раз, два, три, четыре» — приседает Назарук, дыша через нос: вдох — выдох, вдох — выдох.

Мария Кузьминична накрывает стол к завтраку. На уголке кончает завтракать Светлана, торопящаяся в школу. Над ней стоит мать в халате, еще не причесанная, только заколов волосы, говорит с утра уже нервным голосом:

— А я тебе говорю, ты успеешь!

— Да-а,— хнычет Светлана,— ты и вчера так говорила, а потом от учительницы не тебе досталось, а мне.

— Безобразие! — взгляд в сторону Марии Кузьминичны.— В два часа ночи всякие разговоры с ребенком, конечно, она после этого не может встать утром вовремя. Я тебе сказала: пока яйцо не съешь, в школу не пойдешь. Вот! — Лидия решительно солит.

— Да уже солила! — взвизгивает Светлана.

Назарук приседает, методично дыша через нос: вдох — выдох.

Спешно доев, Светлана хватает ранец, стоявший наготове у ножки стола, бежит в переднюю, на ходу вытирает рот. За ней торопится мать, что-то поправляя сзади на платье. Мария Кузьминична выносит грязную посуду, вносит чистую. Она делает все бесшумно и молча, и каждое ее движение зять, приседая, провожает глазами. Вот она внесла чайник, поставила на подставку и не заметила, что носик направлен в сторону нового шкафа. Из носика валит пар. Он может сесть на полировку.

— Мамаша,— говорит зять, как бы устав возмущаться.

Вошедшая Лидия с одного взгляда оценивает обстановку.

— Поражаюсь! — говорит она. После утреннего кормления Светланы ей нужна только искра, чтобы вспыхнуть. — Как это не уметь ценить вещи!

Геннадий Павлович, повесив мохнатое полотенце на плечо, вышел. Лидия взглядом проводила его:

— Вы сами жизнь без вещей прожили, но из этого не следует, что и мы так должны жить. И, пожалуйста, не спорь. Вы не умели жить. Я вспоминаю: когда я выходила замуж, вы мне дали две простыни. Я мужа стеснялась.

— Что уж ты, дочка, так нас простынями коришь, забыть не можешь. Мы тебе жизнь дали, образование ты получила, а уж простыни сами наживете.

Говоря так, Мария Кузьминична смотрит на карточку мужа, стоящую на письменном столе. Василий Иванович снят в степи перед грозой. От поднявшегося ветра уже прилипла рубашка к его груди. Жмурясь, он с радостным ожиданием смотрит на приближающуюся тучу, несущую в себе и молнии, и гром, и новый, еще более сильный порыв ветра.

— Дорогое захочешь, так не вернешь, а простыни-то...

И Мария Кузьминична, взяв со стола, прячет под кофтой карточку мужа: незачем ей стоять здесь.

Входит Геннадий Павлович, уже одетый, без пиджака только. По утрам, после гимнастики, когда он чувствует каждый мускул своего тела, настроение у него бывает хорошее. Сегодня же оно особенно хорошее.

— Что это Шурок умчалась ни свет ни заря? Вы не знаете, мамаша? — спрашивает он, причесывая мокрые волосы. — Я уж соскучился по нашей колхознице.

— Спешила. Говорит, рано поспеть нужно.

— Спешила. Ну вот погодите, я ей хорошего жениха найду, враз перестанет спешить.

— Без тебя нашли, кажется, — говорит Лидия. — Кстати, ты не знаешь, что за человек этот Григорьев из Мусатовского района?

— Григорьев? Так это он?

Назарук вдруг начинает хохотать сочно, аппетитно.

— Ай, Шурка! Ай, колхозница! Нет, но девка-то какова! Не промахнулась. Так надо же их пригласить, раз дело такое. Звать, звать обязательно!

Он ходит по комнате, делая широкие, обнимающие жесты, как бы сгребая всех в кучу. Он сейчас в силе и потому особенно щедр на родственные чувства.

И вот Назарук, держа Григорьева за галстук и подтягивая ему узел к горлу, что он всегда делает в знак особенного расположения, если, разумеется, имеет дело не с начальством, говорит:

— Зять любит взять. Но ты хоть понимаешь, что ты у нас взял, кого, так сказать?

Сестры тем временем вдвоем расстилают на обеденный стол крахмальную скатерть. Шура стелет и весело прислушивается к разговору. И потому, что говорят про нее с Федором, она тут же подходит к мужчинам.

— Тебе что налить, колхозница? — встречает ее Назарук, разливавший водку. Это пока что так, перед обедом, у тумбочки, на которую составлены закуски. — Красненького?

— Нет, я водки выпью, — расхрабрившись, говорит Шура, за ласковым одобрением оглядываясь на Григорьева.

— Видал колхозницу? — кивает на нее Назарук с видом: «А что я тебе говорил?»

Григорьев только улыбается сдержанно. Со стороны

трогательно смотреть на него с Шурой. Они все время стараются быть рядом, полагая, что это незаметно. И они страшно предупредительны друг к другу, как только бывают предупредительны люди в первые месяцы семейной жизни. Только Светлана ненавидяще поглядывает на Григорьева, а Шуру, свою любимую тетку, она вообще не замечает. Она сидит на диване, ест корку черного хлеба — и так бывает у сытых детей — и независимо качает ногой.

— В нашем доме, Федор Иванович, не стесняются, — издали говорит Лидия, раскладывая ножи, и в движениях ее мягкость. — У нас все по-простому, по-родственному.

— А ведь мы с ним, Шурка, на одном фронте воевали, что называется, из одного котелка ели. Да-а, фронт, — вздохнул Назарук. — Незабываемое время. Помнишь Глубокую? Э, да что говорить? Можно сказать, юность наша.

Он снова поставил рюмку и, горько махнув рукой, достает гомеопатические крупинки, по счету кладет на язык. Ищет запить, воды под рукой не оказывается, молча — рот занят — чокается с Григорьевым и запивает водкой. Потом закусывает, жует, глаза увлажняются, а на лице все то же огорченное выражение.

— Их не надо запивать! — спохватывается Лидия. — Их надо просто держать под языком.

— Вот черт, опять забыл.

— Что это ты? — интересуется Григорьев.

— А! — махнул Назарук. — Гомеопаты наградили. Вот принимаю. Понимаешь, здоровье стало ни к черту. Работа адская. Ты — секретарь райкома. Легко тебе? А на мне — сельхозотдел обкома! Соответственно и нагрузка на сердце.

С того момента, как заговорили о фронте, Мария Кузьминична ждала случая спросить Григорьева. Наконец, дождавшись паузы, спрашивает с робкой надеждой:

— Вы в какой местности воевали?

— На Третьем Украинском фронте.

— А на Первом Белорусском не пришлось вам побывать?

— Не пришлось. И в партизанах был на этом направлении, и воевал все на Третьем Украинском.

Так уж установилось в этой семье со смертью Василия Ивановича, что всякое слово, сказанное матерью, звучит неуместно. И Лидия, стесняясь, сейчас же поспешила пояснить:

— У нас Андрей, старший брат мой, воевал на Первом Белорусском фронте. И мама все надеется встретить человека, видевшего его там. Я уже вам объясняла, мама: встретить знакомого на фронте было так же трудно, как, скажем, встретить знакомого в Москве, если вы не знаете его адреса. Дело в том, что вы никогда не были в Москве, а ведь это просто понять.

— Да, ты мне объясняла. Понять это просто...

И Мария Кузьминична, взяв полотенце, идет на кухню.

— Вот вы обижаетесь, — пока она еще не ушла, спешит сказать Лидия. — А в самом деле, нельзя же всякий разговор сводить на войну. Прошло столько лет, как она кончилась, война отошла теперь в прошлое.

— Как же так она отойдет для меня в прошлое, когда у меня на этой войне сын погиб?

Она уходит. И как-то не по себе становится и Григорьеву и Шуре. Трудно глянуть в глаза Назаруку, Лидии — что-то незримое пролегло между ними и разделило. Первым наводить мостки кинулся Назарук, хозяин.

— Пока там обед, пока что чего, а мы за молодоженов выпьем!

Пьют. Чокаются. Закусывают. И в какой-то мере водка сблизила берега.

— Я тебе про сервант не договорила,— обращается Лидия к Шуру.— Тебе нравится наш сервант? Это точно такой же, как у Грибановых. У нас теперь все такое же: и стол, и стулья. Только обивка несколько иного тона. Мне наш тон больше нравится.

— Тон, тон...— машет на них рукой Геннадий Павлович, как бы говоря: «Женщины!..» — Этот тон не делает музыки. Так как у вас на постановление Пленума решили откликнуться? Со скрытыми резервами обстоит как? Думаете расширять посевные площади?

— Ты, пожалуйста, прожевывай лучше,— встревоженно говорит Лидия.

— Год назад ветку у нас прокладывали,— Григорьев усмехнулся.— Прежде от Дружелюбовки до разъезда считалось шесть километров. Строители промерили — девять вышло. И вот мне один старик наш, Шумейко Иван Афанасьевич, говорит: «Им что! Они намерили да уехали, а нам теперь три километра лишних ходи». Разве что из этих скрытых резервов подзаять?

Все смеются. Назарук жует в это время и потому только молча грозит вилкой.

— Ты жуй, жуй,— оберегает его Лидия.— Ему врач рекомендовал как можно лучше прожевывать. Надо делать тридцать пять жевков, а он спешит глотать.

Тогда и Шура спохватилась, что она совсем не ухаживает за мужем:

— Федя, ты же лук любишь. Возьми лук.

— В нашем доме, Федор Иванович, не стесняются. У нас все по-простому, по-родственному.

— Хочешь, принесу тебе горчицы? — интимно спрашивает Шура, и вовсе не о горчице, а о том, что он самый лучший, самый дорогой ее человек, говорят глаза Шуры, глядящие на Федора.

— Ты не беспокойся,— говорит Григорьев. Он не умеет проявлять свои чувства при посторонних и только ласково трогает Шурину руку, чтобы предупредить дальнейшее усердие, стесняющее его.

В это время Назарук случайно глянул на Светлану и так и остался с открытым ртом, беззвучно смеясь. Он тихонько толкнул Шуру, та обернулась и встретила ненавидящий взгляд Светланы. Светлана вскочила, со злыми слезами в глазах выбежала в дверь.

— Нет, каково: ревнует!

— Геннадий! — остановила его Лидия, считающая себя педагогом.

— Я пойду поговорю с ней,— сказала Шура виновато и растроганно.

А минуту спустя Назарук, грозя вилкой, уже доказывал Григорьеву:

— Это ты неправильно ставишь вопрос! Есть установка расширять посевные площади? Есть. И мы не можем в таком важном мероприятии отстать от других. Если ты этого не понимаешь, значит, ты не понимаешь духа времени.

— По-твоему выходит, если министр бреет голову, так и все министерство остричь наголо? Насчет духа времени не знаю, а вот хлеб у нас выгорает. Редкий год удается семена вернуть. Потому-то у нас овечка в королевах ходит, овечка — богатство наше. Распашем пастбища — всех оставим голодными. А ведь это тысячи народа. Вон «Правда» на днях писала, как в Казахстане распахали солонец и лесные полосы, а рядом замечательная целина лежала. Так тоже бывает, если дело ради отчета делается, лишь бы от других не отстать.

В коридоре Шура стучит в комнату Светланы.

— Света, открой.

Тишина за дверью.

— Открой, Светленькая.

Постояв перед закрытой дверью, Шура идет в кухню.

— Ревнует,— говорит она матери растроганно. Мария Кузьминична уже ждала ее здесь.

— Я тебя, дочка, что просить хочу,— и она заискивающе заглядывает в глаза Шуры.— Может, возьмешь к себе письменный стол отца?

Шура теперь только замечает в кухне отцовский письменный стол. Он стоит рядом с раковиной, на нем брызги воды, на него составлена грязная посуда.

— Мамочка, переезжай к нам, родная,— просит Шура.— У Феди никого нет. Родителей его в войну немцы замучили. За то, что в партизанах был. Он только рад будет, если ты переедешь.

И вот уже не только через Шуру, а этим своим пережитым горем Григорьев становится для Марии Кузьминичны близким человеком, уже за него душа болит.

— На Андрюшу нашего как будто похож он. И рост у них одинаковый, и Андрюше сейчас бы тоже было тридцать лет. Ох, ведь ждут нас там.

Захватив первое, обе идут в столовую. Здесь уже все трое стоят по разным углам, Лидия поправляет в вазочке цветы. К столу никто не идет. Молчание. Общая отчужденность.

Тогда Мария Кузьминична, поставив миску с супом на стол, говорит голосом хозяйки:

— Прошу всех к столу.

Она в своем доме, это ее дочь, ее Шура вышла замуж, и она хочет, чтобы все было достойно, как при отце. Тем же тоном хозяйки дома, как она не раз говаривала при

Василии Ивановиче, она произносит это «Прошу всех к столу».

Все идут к столу. Усевшись прочно, переложив у своего прибора ножи, вилки, Назарук говорит:

— Когда речь идет об интересах страны,— он обращается не к Григорьеву, а к матери,— иной раз приходится поступаться своими маленькими районными интересами. Как известно, в свое время в России были картофельные бунты. Те, кто не хотел сажать картошку, тоже пугали сводками десятилетней давности: дескать, у нас она сроду не росла и не родилась. А сейчас без картошки,— он обводит рукой стол,— ни один нормальный человек существовать не может. Ясно, думаю? Между прочим, этим мы, марксисты, отличаемся от обывателей: для нас государственный интерес выше личных.

Выслушав всю эту длинную назидательную речь, мать говорит только два слова:

— Кушайте, кушайте.

Обычно, когда уходят гости, хозяева начинают обсуждать их. Тем более такой случай: новый родственник вошел в семью. Но родственник-то новый, а отношения с первых же встреч установились неродственные. И Геннадий Павлович, нервничая, говорит жене:

— Не могу же я теперь пойти на попятную. Секретарь обкома дал обязательство расширить посевные площади, а проект-то готовил ему я. Я нашел скрытые резервы. А как я мог не найти, когда все берут новые, повышенные! Дух времени! А я — заведующий сельхозотделом обкома партии, только что назначен. От меня ждут смелости, инициативы, реальных дел. В наше время отсталых бьют.

— Но, Геннадий, а если вы распахнете,— она делает

жест человека, не очень уверенно чувствующего себя во всех этих специальных терминах,— словом, все это сделаете, а урожая не будет? Ты понимаешь, чем это для нас может обернуться?

— Но что, что ты мне предлагаешь сейчас? Пойти к Патанину, покаяться? Он тоже недавно назначен секретарем обкома, он должен оправдывать доверие, выполнять взятые обязательства, а не отказываться от них. Он меня жалеть не станет.

— Просто Григорьев тебе завидует,— с внезапно прорвавшейся ненавистью говорит Лидия.— Я тебе всегда говорю: у нас друзей нет. Все злые, все завистники.

— При чем тут «завидует», когда я сам себе сейчас не завидую. Вот наградила нас Шурка родственничком, что называется, ввела зятя в дом.

Кабинет секретаря обкома партии Патанина. Сам Патанин сидит на обычном своем месте. Сбоку его стола Назарук заканчивает говорить, складывает уже бумаги. Еще несколько членов бюро. За длинным столом, точно подсудимые, сидят рядом Григорьев и второй секретарь райкома Торопов. Он уже в годах, лысеющий и со лба и с затылка — районный работник, который и в грязь, и в дождь, и в распутицу безответно, год за годом мыкается по размытым дорогам, выполняя предписания.

Назарук:

— Партийный долг требует сказать прямо и принципиально: в то время как вся наша необъятная страна берет новые повышенные обязательства, выявляет скрытые резервы, ты, Федор, решил пойти по легкой дорожке, не захотел расстаться с привычной, спокойной жизнью. Четыре месяца мы убеждали, доказывали, вот уже весна

на носу, а Григорьев по-прежнему твердит, что хлеб у них не родится, пугает нас сводками десятилетней давности. Негоже.

Садится со скромным достоинством. Члены бюро перешептываются.

— Что же, послушаем товарища Григорьева,— говорит Патанин. И уже совершенно ясно его отношение ко всему тому, что Григорьев может сказать.

Медленно встает Григорьев. Торопов облизывает пересохшие губы, снизу испуганно смотрит на него. Он бледен. Он больше всех здесь переживает. Он приехал с тем же решением, что и Григорьев, но сейчас, подавленный обстановкой, начинает колебаться.

«Что я скажу? Я долго думал. В жизни так: если очень хочешь чего-либо, то и факты подбираешь таким образом, что все они подтверждают твою правоту. Вот и я так подбирал факты. Но сейчас, на бюро, я все это увидел по-новому».

И как бы сразу всем легко стало, как бы радостно оживились все, будто после этого дело само делается.

Да, хорошо было б... Но Григорьев, встав, говорит совсем другое:

— «Негоже»... Слово-то какое... Мол, сам народ тебе говорит: «Негоже!» А ведь если совсем уж по правде говорить, так что получается? Вот хоть Семин сидит, инструктор. Уважает его у нас народ? Нет, не уважает. Не за что. А приедет, скажет слово — слушаемся. И к тебе, товарищ Назарук, все это же самое относится. Так само и про тебя говорят. Про вас, Константин Александрович, никак пока что не говорят. Район наш дальний, а вы человек у нас новый, словом, не успели узнать. Тут Назарук толково говорил, с пословицами. Ну, да пословиц, их можно и еще набрать столько же. А вот распашем мы земли, по-

шлем отчет не хуже других. Урожай, конечно, не будет. А зимой овцы начнутдохнуть от бескормицы. Когда солдат ошибается, он один за это в ответе. А за ошибку командира дивизии вся дивизия расплачивается. Оно, конечно, маленькое слово «перегиб». Вроде бы согнул, неправильно — обратно разогнул. А не все разгибается.

И вот тут Григорьев погорячился излишне. Глядя на секретаря обкома, он сказал, немного поколебавшись:

— Я, конечно, не знаю и утверждать не могу, но если уже где-то обещано — бывает ведь и так тоже, — так отказаться бы надо. Другого выхода не вижу.

Он сел. Долгое неловкое молчание. Перешептываются. Стараются не глядеть на секретаря обкома. И каждый не рад, что оказался при таком разговоре.

— Ну что же, послушаем второго секретаря, — откинувшись на спинку кресла, держа Торопова под взглядом, как под прицелом, говорит секретарь обкома. — Какого он настроения? Говори, товарищ Торопов.

Торопов осторожно под столом застегнул пуговицу пиджака. Руки его лежат на коленях. Они вдруг обмякли, стали влажными — весь характер человека в этих руках. Торопов поспешно вытирает их о колени, встает.

— Так я что же?.. Что я сказать смогу? Конечно, засуха у нас, беда наша, — он робко поднял глаза на секретаря обкома и поспешно опустил их. — Засуха, она вред свой причиняет. Но и с другой стороны взглянуть надо...

Площадь перед зданием обкома партии. Зимний вечер, горят фонари. По дыханию, по толстому инею на ветках, на телеграфных провисших проводах, по резкому скрипу снега под каблуком прохожего чувствуется, что морозец

крепкий. У машин, выстроившихся в ряд, притопывают, греются разговором шоферы.

— ...А мне надо на Новое Раменье попасть,— рассказывает в кружке один из шоферов. «Дед,— говорю,— этой дорогой можно ехать?» — «Чего,— говорит,— нельзя? Можно». — «А попаду я на Новое Раменье?» — «Нет, не попадешь». — «Так чего ж я по ней поеду?» — «А я не знаю. Може, вам так бильш нравится...»

Хохот. Рассказчик смеется, довольный. Смотрит вверх, в одном из освещенных окон — на стекле жалкая тень Торопова.

— Достается какому-то бедолаге.

— Однако же долго что-то заседают,— говорит другой шофер, достает пачку, копается в ней, заглядывает внутрь, смотрит даже на свет и, смяв в комок, бросает.

— У кого есть, ребята? Полпачки было — все искурил, честное слово.

— А ты, когда начальство ждешь, не считай, сколько папирос выкурил. Шофер курит по единой,— снова берет инициативу рассказчик.— Это как прежде священники пили. Много выпить — священный сан не позволяет, мало — душа противится. Так они по единой...

В кабинете секретаря обкома. Под одобрительными взглядами секретаря обкома и Назарука Торопов заканчивает говорить. Григорьев, сидя рядом, снизу вверх все время смотрит на него. За эти несколько минут Торопов похудел словно.

— ...и конечно, раз мы должны, то резервы у нас имеются. И я так думаю, надо нам на себя эти обязательства взять. Взять их, значит, и выполнить. И еще я хотел сказать, что трудности одолевать надо.

— Значит, вы считаете, что товарищ Григорьев неправильно осветил здесь положение?

— Выходит, так.

— Иными словами, искажил?

— Искажил,— убито соглашается Торопов. И, случайно глянув на Григорьева, добавляет поспешно: — Я это, конечно, в переносном смысле...

— Не знал, что ты трус, Торопов,— говорит Григорьев.— Можешь понимать это тоже в переносном смысле.

Секретарь обкома холодно глянул на него, шепотом поговорил сначала с одним членом бюро, потом с другим.

— Ну что же, я думаю, вопрос ясен в общих чертах,— подводит он итог.— Остальные выводы сделаем после.

И, встав, переворачивает страничку календаря в новый день.

Все тоже встают, вдавливая в пепельницы недокуренные папиросы. У всех облегченное состояние, какое наступает после долгих прений, после долгого сидения в духоте.

В коридоре Назарук догнал Григорьева.

— Слушай, Федор, я думаю, служба службой, а личные наши отношения не должны от этого страдать. И у тебя, и у меня не так-то уж много родни. Послезавтра Лидочкин день рождения. Я думаю, вы придете,— против воли он говорит это заискивающе.— Лидочка будет ждать непременно. Она там наготовила!.. А вообще ты вел себя сегодня глупо, прости меня за откровенность. Не политично, главное. Ты ошибаешься, если думаешь, что людям нравится, когда в их недостатки тычут пальцем. Зачем тебе понадобилось говорить Патанину, что он плохо разбирается в сельском хозяйстве? Знаешь...— его смущает взгляд Григорьева.— Ну, да что объяснять, когда ты сам понимать должен. Могу только сказать, что настроение

против тебя нехорошее. В смысле оргвыводов, я думаю, все удастся уладить, а вообще...

Мимо проходят по коридору обкомовские работники, и каждый с любопытством оглядывается на них. Слышатся обрывки разговоров, уже не имеющих отношения к закончившемуся только что заседанию, люди разъезжаются по домам.

— Неужели так и сказал?

— Это что! Ты слушай, что она ему сказала...

Другие двое, проходя, говорят:

— Сейчас бы пешком, по морозцу. А то вот такая голова. Надо бросать курить.

— Вон Назарук бросил.

— Ну, Назарук! До Назарука, брат, не достанешь.

Это говорится с расчетом, чтобы Назарук слышал. Но не ясно, чего здесь больше: одобрения или скрытой насмешки.

Назарук кивает им, словно ведет с Григорьевым самый приятный разговор, и они кивают весело:

— Ты скоро?

Издали доносится взрыв хохота первых двоих.

Подождав, пока пройдут, Григорьев говорит Назаруку:

— Я, когда молодой был, все думал: чтобы убить человека, ведь это, наверное, большая злость нужна. А оказывается, после этого даже на день рождения зовут.

И, повернувшись к Назаруку спиной, спокойно, не торопясь, уходит.

В машине, на заднем сиденье, в темноте, освещаемый сквозь стекло уличным фонарем, томится Торопов. Подходит Григорьев, садится рядом с шофером.

— До дому, Никита Семенович.

— Да она же, Федор Иванович, и так стоит радиатором к дому,— деликатно шутит шофер. На своем веку он достаточно повозил начальство и обстановку улавливает с маху. По одному тому, что Григорьев сел в машину, даже не глянув на Торопова, шофер понял, что дела серьезные. И тут же сориентировался, как правильной будет вести себя.

И вот машина тронулась. Остались позади ночные огни города. Степь под снегом. Узкая заметенная дорога, тем только и отличающаяся от остальной степи, что она выше и снег здесь укатан. Лучи фар, вздрагивая на выбоинах, щупают дорогу впереди.

А в машине трое человек молчат. Григорьев смотрит перед собой, лицо отвердело. Сзади Торопов затравленно поглядывает на его каменную спину, чуть возвышающуюся над спинкой сиденья. Что бы ни думали они друг о друге, что бы ни случилось только что между ними, а ехать им надо вместе: машина одна. И вот едут. Вспыхивают в темных стеклах угольки папирос.

Ночь. Степь кругом...

— Ты меня тяжело обидел, Федор Иванович,— говорит наконец Торопов хриплым от долгого молчания, а может быть, и от волнения голосом.— Но я на тебя сердца не держу. Не хочу только, чтоб ты обо мне думал так. Сам видел, надавили на меня, ну я и не смог... Да что говорить, когда вода подойдет под горло, каждый начинает плавать. Хоть бы и не умел. А у меня, Федор Иванович, трое детей.

Опять едут молча. Даже непонятно, слышал ли все это Григорьев. И молчание теперь невыносимо. Не оборачиваясь, все так же глядя перед собой на дорогу, Григорьев говорит жестким голосом:

— В районе больше трех тысяч детей не хуже и не

лучше твоих, Торопов. И они так же дороги матерям, как тебе твой трое. И они так же хотят есть.

— Строго судишь, Федор Иванович,— говорит Торопов.

— Не строже, чем люди будут судить нас. А ты расскажи своим детям, как ты ради них старался. А я послушаю да посмотрю. Может быть, завтра я не буду секретарем райкома, но суд мой от этого не мягче.

Машина мчится по степной дороге. Ночь. Вдали замерцали редкие огни районного центра.

Машина затормозила перед домом Григорьева, осветив фарами побеленный угол стены. Шофер выключил свет. На крыльцо выбежала Шура.

— Федор, ты?

Увидела в машине Торопова.

— Иван Иванович, может быть, зайдете к нам? Чай горячий на столе. А у Феди покрепче что-нибудь найдется. Вон и Никита Семеныч замерз.

Григорьев идет от машины, не оглядываясь.

— Да нет, меня дома ждут,— глядя на его удаляющуюся спину, говорит Торопов неуверенно. И его по-человечески жалко в этот момент.— Я уж дома... Спасибо, Александра Васильевна.

— А то идемте. Не долго.

— Спасибо, Александра Васильевна.

Опять вспыхивают фары, освещая белый угол стены, машина отъезжает.

В сених, крепко обняв мужа, Шура говорит:

— А я так рада, что мы одни. Я звала Торопова и ужасно боялась, что он вдруг действительно пойдет. Он хороший человек, но все же хорошо, что он не пошел.

Ты насквозь бензином пропах. Ну идем же скорей. У меня все готово.

Шура возбуждена, и глаза у нее блестят необычно. У нее есть для мужа тайна, дорогая тайна.

— Вот здесь садись,— говорит она Федору, введя в столовую.— Нет, сначала идем мыть руки.

Пока он умывается, Шура стоит рядом с полотенцем и смотрит на его шею, на его затылок, на его руки, смотрит глазами, полными любви.

— Федя,— говорит она с тихим внутренним торжеством.

Григорьев вытирает полотенцем лицо, неясно мычит в ответ.

— Феденька,— говорит Шура,— ты знаешь, у нас будет маленький.

В первый момент Григорьев смотрит на нее даже испуганно: он давно, очень давно хотел сына. Ему тридцать лет.

— Ты умывался сейчас, а я смотрела и думала: может быть, у нашего сыночка будут твои руки. У тебя такие мужские руки. И пусть эта часть будет твоя.— Она показывает нижнюю часть лица.— Твой подбородок. И лоб тоже. А если девочка... Ты ведь ее так же будешь любить, маленькую нашу девоньку? Я ждала тебя и все рассматривала твои фотографии. Жаль, нет карточек, где ты маленький был. Как это все непонятно, неизвестно и как тревожно...

У нее в глазах слезы. Федор успокаивает ее. Так всегда в жизни: и горе и радость приходят в один час, а сердце человеческое вместительно. И Шуре спокойно становится в его руках.

— Мы теперь с тобой самые родные. Родней нас уже никого нет.

И, погода немного, говорит:

— Ну, идем, Феденька, ты ведь с утра голодный.

Уже из столовой Шура спрашивает, звеня посудой:

— Да, я так и не спросила, что на бюро?

И Григорьев чувствует, что сейчас не может он омрачить ее радость.

— Все в порядке, — говорит он правдивым голосом.

Зимняя ночь. Луны не видно. Но в быстро бегущих облаках по временам озаряются просветы, и тогда белеет снег на земле. Эта же ночь осенью, когда земля черна, была бы совсем черной. Но сейчас от снега все же светло, хотя и метет сильно.

Степная дорога, по которой час назад проехал Григорьев, вся как будто живет, шевелится. Ветер волнами несет поземку и даже видно, как он стирает еще оставшийся след шин. Каждый телеграфный столб гудит на свой голос, и тоскливо слушать эту зимнюю степную песню. Раскачиваются провисшие телеграфные провода, с них кусками падает иней.

Вот на райисполкомовском дворе ветер нашел плохо сложенный прикладок соломы, завертелся вокруг него и, легко сняв верхушку, забросил через два двора. Где-то стучит ставень. Шибко метет с крыш, и края их дымятся. В селе пусто, и особенно широкими кажутся безлюдные улицы. Мечется на снегу свет одинокого фонаря на площади, лают озябшие собаки. Голая, обледеневшая ветка яблони стучится в стекло, словно к людям в тепло просится. Из комнаты на обросшем инеем окне видна ее качающаяся тень. Лежа на спине, Григорьев смотрит на эту ветку, думает, курит. На его руке спит Шура. Вот она

вдохнула, сонно потерлась щекой о его плечо, устраиваясь теплее. И опять затихла.

Качается на морозном стекле тень ветки.

Перед зданием райкома партии множество людей рассаживается в машины, в брички. Это кончилось бюро. Те председатели колхозов, кому близко или кто решил в чайную перед дорогой заглянуть, идут группами. Слышны голоса:

— Дела-а!

— Не захотел Григорьев вторым секретарем оставаться. Агрономом в колхоз ушел.

— Твердый мужик.

— А Лихобабе и тут подвалило. Такого агронома...

И все посмотрели на щуплого старичка. Он скромно идет в середине, сунув руки в прорезные нагрудные карманы полупальто.

А у райкома Назарук, усаживающийся в «Победу», прощается с Тороповым.

— Ну, вот так... Информируй. Если что — поможем

Уже из машины он сунул Торопову руку, дверца захлопнулась, машина отошла.

Торопов идет по улице. Весна в воздухе, весна на сердце, и каждая лужица под ногой блестит, как осколок солнца. Но чем ближе к дому, тем мрачней он становится. Дома дети, ради которых он и «поплыл», когда вода подступила под горло. Дома старший сын. Он уже все понимает. Сейчас надо сказать ему, что отец его вместо Григорьева избран секретарем райкома.

В передней, у двери в столовую, Торопов повесил пальто, ладонями пригладил остатки волос на голове, но входить все медлит почему-то. В столовой сын, парнишка

лет пятнадцати, он возится с радиоприемником, сняв с него заднюю стенку.

Наконец Торопов входит, твердо ступая, покашливая властно. Сын все возится. Усевшись за стол, Торопов раскрыл газету, поверх нее наблюдает за сыном. Тот не замечает его.

— Когда отец входит в дом, полагается говорить «здравствуй»,— говорит Торопов со спокойствием, стоящим ему душевных сил. Сын вытащил голову из приемника, глядит удивленно.

— Я просто тебя не видел.

— А я своего отца всегда видел. Когда он входил в дом. Потому что это — отец...

Сын внимательными, задумчивыми глазами смотрит на него.

— У тебя неприятности?

— ...и вопросов ему не задавал.

Сын пожал плечом, подвинул тумбочку с приемником на место, к стене, и вышел в переднюю.

— Мама, я к Леше пошел! — крикнул он оттуда.

Торопов поверх газеты смотрит на дверь, в которую он вышел. Хлопнула наружная дверь, от толчка воздуха дрогнула газета в руках Торопова.

— Он ведь ни в чем не виноват. Зачем ты накричал на него?

Это жена грустно спросила его. Она стоит в противоположных дверях.

— Хватит! — закричал вдруг Торопов и, побагровев, хлопнул ладонью по газете.— Дома я в конце концов или на собрании? Ему,— он указал на приемник, на место, где только что стоял сын,— ему я тоже подотчетен, оказывается.

Жена села на стул, глазами следит, как он ходит из

угла в угол. Они вместе прожили жизнь, его боль — ее боль; они давно уже понимают друг друга без слов.

— Значит, тебя все же выбрали первым секретарем?

Он молча ходит.

— Ваня, а если опять случится засуха, если урожай не будет?

Он все ходит.

Подняв брови, жена рассматривает свои руки, лежащие на коленях. Внезапно она улыбнулась далекому воспоминанию.

— Помнишь, Ваня, восемь лет назад, как раз после войны, когда тебя перевели сюда, помнишь, мы ждали тогда, что тебя изберут первым секретарем? И сколько у нас планов тогда было...

Она вздохнула и сказала, помолчав:

— Страшней всего, что уже есть поступки, о которых мы стыдимся сказать детям.

Весенний полдень. На кургане сидят Григорьев, чабан Ефимов и председатель колхоза «Красный маяк» Лихобаба, старик с морщинистым умным лицом. По всему кургану и у подножия пасутся овцы.

Вот показалась вдали машина, перевалившая степной гребень. Отсюда трудно различить, что за машина и что за люди в ней.

— Кто-то из начальства поехал, — сощурясь вдаль, определил Лихобаба.

— Тебе, Макар Анисимович, теперь уже в каждом дереве начальство видится, — говорит Григорьев.

— Да деревьев у нас, видишь, как раз нету. Сторона наша степная, голая. Тут бы и надо другой раз лесинку какую-нибудь завалющую, так хоть плачь — не найдешь.

А начальство — это ты правду сказал, — начальство имеется. Вот когда был ты секретарем райкома, и тебя тоже так высматривали. Но скажу прямо: тебя мы знали. Оттого тебе и агрономом работать легко, что народ тебя знает.

Они разговаривают так и смотрят в ровную, плоскую даль. Машина исчезла, но теперь явственно слышно та-рахтение трактора. Наконец он сам показался у дороги, разворачиваясь.

— Ну, вот он, — говорит Лихобаба.

— Чего он там делает? — удивился Ефимов. Потом присмотрелся внимательнее. — Да он пашет, никак? Пашет!.. Да что ж он пастбища-то пашет?

Григорьев и Лихобаба, не отвечая ему, идут навстречу трактору. Идет и Ефимов, поглядывая на них, становясь все более мрачным. Вот уже трактор близко.

— Нет, стой, — вдруг говорит Ефимов, — так не пойдет.

И, забежав наперед трактору, кричит:

— Стой! Не дам пахать.

— То есть как, как это ты не дашь! Как это «стой» значит? — вдруг взрывается Лихобаба.

Трактор и пять блещущих на солнце лемехов проходят перед Григорьевым и Лихобабой. Слышно, как с треском лопаются корни трав, разрывается дернина.

— Пахота, — говорит Лихобаба. — Из года в год ею начинается новый круг жизни. А ведь это похоже на разрушение.

Они стоят у вспаханной земли, и вместе с ними у края ее, как у края обрыва, стоят оттесненные, сгрудившиеся овцы.

— Эх, земля, земля, — вздыхает Лихобаба. — И сколько ж над тобой начальников! Она, может, одна буква в общем плане неправильная, да ведь та буква — весь наш район. Конечно, невеликий район, на большой карте

не обозначен, а все же сколько-то тысяч народу живет здесь. И на войну эти люди ходили, и стройки строили, и на земле работают — вроде бы и нас спросить не грех, когда общий-то план составляется. Ведь сколько-нибудь каждый из нас пожил на свете, чего-нибудь да знает. А то я гляжу — весна вроде бы началась, а морозы держатся.

— Весны без заморозков не бывает, и тебе это, Макар Анисимович, известно, — говорит Григорьев. — Но как они, заморозки, ни сильны другой раз, время за март перева-лило, не к зиме дело идет — к весне.

Жаркий летний день. Жаворонок в синей вышине. Хлеба уже начали наливать колос.

Раздвигая колосья, выходят на дорогу Григорьев и Лихобаба. У Лихобабы лицо и шея блестят от пота.

— Теперь бы один дождь под налив, — говорит Лихобаба. — Прошлый год тоже вот так молоком наливался колос. — Он надавил в пальцах зеленое зернышко — выдавилась капля молока. — Суховой подул — все посьежилось, на глазах сторело.

Лихобаба обтер пальцы.

— Если опять сухойей, кто мы тогда?

Идут молча, попирая пыльными сапогами сухую землю.

— Ты знаешь, Макар Анисимович, я тут родился, — говорит Григорьев. — Полжизни здесь прожил. И воевал за эту землю, и сколько вложил труда — все в нее же. И старики мои в этой земле похоронены. А сейчас жду неурожая.

— Что ты, Федор Иванович, об этом подумать страшно!

— Страшно. Другой раз поймаю себя на этой мысли, и сам пугаюсь. А если урожай будет? Тогда, значит, и

остальные полстепи распахать? Скрытые резервы... Понимаешь, чем тогда для нас сухой обернется?

— Это ты правильно говоришь, — со страхом глядя на него, соглашается Лихобаба. — А только не дай бог нам суховея. И скажи ж ты, какая жарыща... С утра лежит вон то облачко за краем степи, а дальше не высовывается. Я давно за ним слежу. Если оно зашевелится — жди к ночи грозы.

Ночь. Облитое лунным светом, спит село. Белые стены саманных домов, резкие тени на земле.

...В степи, где дремлют овцы, тоже месячно и тоже тишина. Вблизи отары стоит засохшее, с короткими ветвями, черное против света, дерево. Но вот тень облака поползла по земле, накрыла отару, накрыла дерево.

...И в селе тень облака, гася лунный свет, движется по улице. Потемнело. Все затихло в ожидании.

Первыми почувствовали приближающуюся грозу вершины деревьев. Они вдруг зашумели, закачались, отрясая листья. Сухо блеснула молния, помедлив, ударил гром. И, словно от удара грома, распахнулись обе створки окна в крайней кате, высунулась заспанная голова, глянула на небо. Окно снова захлопнулось, на крыльцо, подтягивая штаны, сонно зевая, вышел хозяин. От следующей молнии осветились на столбах белые изоляторы.

— Ох-ох! Ведь это что делается! Пойтить козу привязать, — за спиной хозяина заговорила жена. — Она не так этого грома, как молоньи боится.

Григорьев проснулся от удара грома. И сейчас же порыв ветра подхватил занавеску, протащил ее по окну, по письменному столу, тому самому письменному столу Василия Ивановича, скинул графин с водой. Во дворе тявк-

нул и жалобно, как перед бедой, заскулил щенок. Ему ответила в другом дворе собака. Опять молния, опять удар грома. Григорьев поспешно одевается, пыхая папироской. Шура подбирает осколки графина с полу. Остановилась с осколком в руке.

— Федя, там овцы в степи. Они грозы боятся.

— Ну что ты, куда тебе в степь! Ты же ведь чем рискуешь! Нельзя тебе...

А в степи в это время молния вонзилась в сухое дерево, и оно вспыхнуло, осветив шарахнувшихся овец. Ефимов и еще двое чабанов пытаются сбить отару. С лаем носятся овчарки.

Село уже не спит. Во всех дворах народ. Вспыхивают угольки папирос.

Голос:

— Эй, курцы! Поосторожней бы надо. Сухое все кругом, вмиг ветром подхватит. Или пожара захотелось?

Мужчины негромко разговаривают, собравшись группами. Больше всех группа у дома председателя, Лихобабы.

Голоса:

— Гремит здорово, а будет ли дождь?

— Все небо обложило. Звезд не видеть.

— Да, ветер силен. Гляди, опять, как в прошлом году, пронесет мимо.

Подходит взволнованная Шура:

— Макар Анисимович, надо бы конных послать. Овцы в степи. Очень уж полыхает сильно.

Лихобаба, как всегда в трудные минуты рассудительный и несуетливый, говорит своим тихим голосом:

— Митрий, и вот ты тоже, Орефьев, и ты, что ли, Егор, скажите на конюшне, мол, я велел коней взять, да скачите к Ефимову. Как, мол, там у него и что.

И вскоре трое конных проскакали по улице.

На другом конце села, у крайней хаты, та самая хозяйка, что ходила привязывать козу, шепчет:

— Господи, и прошлый-то год и позапрошлый все над Покровским дожди. Уж этот-то год не пронеси, господи, пролей над нами.

И тянется щелотью перекрестить лоб. Хозяин лениво обернулся.

— Комары, Петрович, комары. Уж так жгут. Должно, перед дождем взлетались.

— Чего ж меня-то не жгут?

— А ты куришь. Они табачного дыму боятся.

— Вот и ты кури, авось мозги прочистит.

Стегают молнии, и при их белом свете видны сухо блестящие глаза людей. Люди ждут дождь молча. Женщина на руках качает уснувшего ребенка. Девочка стоит впереди отца, затылком прижавшись к его животу. И он положил на ее голову большую жесткую крестьянскую руку, положил сурово и ласково. И девочка смотрит на вспыхивающие молнии с тем же, что и у взрослых людей, выражением. Много лет пройдет, и многое забудется, но то, как отец, и люди кругом, и она сама ждали дождя ночью, девочка будет помнить.

У председательского дома тихий голос Лихобабы:

— Сколько труда, ведь это сколько труда вложено. Неужели все зря?

Григорьев на своем крыльце говорит Шуре:

— Одни люди жизнь на земле устраивают, другие свою устроить торопятся. И как здоровье свое драгоценное берегут! Тридцать пять жевков... Страшно, когда такой человек получает власть над людьми. А такие-то и лезут командовать. Распределять блага жизни всегда и легче и прибыльней, чем создавать их.

Первая весома́я капля щелкнула по лаковому козырьку старой военной фуражки Лихобабы. Он осторожно снял фуражку с головы, и все молча взглянули на эту каплю и, удостоверясь, подняли лица к небу. Дрогну́л от дождевой капли лист на дереве. Капли печатаются в пыли. Одна из них упала на лицо женщины, той, что просила не пронести, пролить дождь над ними. Она вытерла ее ладонью, потом вытерла глаза.

— Поехала, — говорит ей муж, скрывая волнение. — Твердости в тебе нет никакой.

— Да ведь как же, Петрович, это мы теперь с хлебом...

Но, покапав, дождь прекратился, даже не смочил пыль на дороге. Начал стихать гром, реже и отдаленней сверкали молнии. Опять налетел стихший было ветер, зашумели, сгибаясь, вершины деревьев. А люди все ждут, все еще не расходятся.

— Смотри, папа, звезды показались, — говорит девочка. Рука отца гладит ее голову.

— Что ж сделаешь, дочка, ничего и не сделаешь...

Лихобаба рукавом вытер след капли с козырька фуражки, покорно надел фуражку на голову.

— Местность наша степная, голая. В другом краю тучка за лесок зацепится, а у нас ее мимо несет.

Рассвет. В пыльной мгле встало тусклое красное солнце. Жарко. Пискнула какая-то птица, и та затихла. Овцы сгрудились голова к голове, перестали есть. Коровы, как от пожара, забрели в ручей, пересохший наполовину, легли в грязь. Это идет суше́й.

Резкий звонок в квартире Торопова. Торопов приболел: сердце сдавать стало. В домашней обстановке он выглядел **вовсе пожилым и тихим.**

— Слушаю... Да, слушаю, Геннадий Павлович... Дует. С утра... Так кто ж мог... Слушаю...

И долго слушает, постепенно все более тускнея. Потом печальным взглядом окидывает стол, который жена как раз накрывает к обеду, к воскресному обеду.

Торопов вешает трубку.

— А у меня окрошка со льдом,— в растерянности говорит ему жена.— И куда ж ты поедешь по такому пеклу? Ночью врач был, а теперь едет. Ты хоть объяснил бы, что сердце у тебя...

— Эх, Маша, разве это объясняют? Хороший урожай — и ты хорош, и ты прав. Плохой урожай — значит, и секретарь райкома плох. И все прошлые грехи за одним разом припомнят. Тут уж про сердце молчи. Знаешь, как скажут? Мало того, что у него урожай плох, у него еще здоровье, оказывается, никудышное. Он небось из кабинета не вылезает. Вот как скажут. Надо ехать меры принимать.

— Да какие меры ты примешь? Сухой, что ли, заслонишь собой?

— Там какие-никакие, а какие-нибудь принимать надо. Дай, что ли, холодненького на дорогу.

Садится к столу, пробует пару ложек.

— Вот ведь взялось! Вздохнуть нельзя. Вот так вот вздохнешь и как будто на гвоздь натыкаешься. А может, это ничего? Просто я не болел никогда, не привык. Наверное, ничего.

Во дворе райкома партии у раскрытых ворот гаража шофер возится с машиной. Множество масляных деталей и инструментов разложено на брезенте здесь же.

— Давай, Никита Васильевич, запрягай быстрее,— говорит Торопов входя.— Едем сейчас.

— Все давай да давай. Дали б вы мне денек хоть мелкий ремонт произвести. Это ведь не человек — машина, ей другой раз остановка требуется. Как раз с эмтээсовскими слесарями договорился.

— Нельзя, нельзя, потом как-нибудь.

— Ну, нельзя так нельзя. А только сядем в дороге — я вас предупреждал.

Едут. Настойчиво дует суховей. Даже с опущенными стеклами в машине дышать нечем. Обгоняют две телеги. Женщины-подводчицы лежат в них лицом вниз. Туфли на чогах стоптаны и пыльны, загорелые икры блестят.

У развилки шофер спрашивает:

— В «Красный маяк» поедем или в «Зарю»?

— Езжай в «Маяк»,— говорит Торопов. По сути дела, ехать все равно куда, ничего этим не изменишь.

Едут. На подъеме мотор начинает глохнуть. Заглох.

— Ну вот. Я предупреждал, Иван Иванович.

Но Торопов только вяло вылезает из машины. Подойдя к придорожному деревцу, срывает несколько листьев, растирает в ладонях.

— Лист в ладонях крошится,— говорит он больше сам себе и долгим, печальным взглядом оглядывает степь. Со многим прощается он в этот момент.

Качаются колосья, сморщенные, усохшие,— погибший урожай. То один, то другой колос Торопов берет на ладонь, отпускает.

— Пойду, пожалуй,— говорит он.

Шофер немного даже напуган таким его кротким, странным поведением.

— Попутной подождите,— советует он неуверенно.

— Пойду,— решает Торопов.

И долго видно, как он удаляется. Огромная степь, огромное небо и маленький удаляющийся человек на пыльной дороге. Что он может предотвратить?

Шофер с тревогой смотрит ему вслед.

Григорьев стоит у края дороги. В тучах жаркой пыли гонят по дороге блеющих овец. Заготовитель с кожаной сумкой на боку, с мокрым, красным лицом озабоченно оглядывает отару. Последним идет Ефимов. Он мрачен, зол.

— Куда овец гоните? — спрашивает Григорьев у Ефимова.

Тот махнул рукой, прошел, не ответив. Издали уже крикнул зло:

— На мясо.

Несколько черных ворон с карканьем кругами плавают над отарой выше пыли, словно чуя поживу.

Отара прошла. Пыль стоит над дорогой. По следу овец, высунув мокрый язык, тащится старая облезлая овчарка.

Посреди поля пшеницы стоит сосна, бросая на землю негустую и неширокую тень. В этой тени, опершись спиной о ствол, обмахивая бледное лицо фуражкой, сидит Торопов. Рубашка на его лопатках мокрая, крупный пот на висках. И весь он, как выжатый.

Григорьев со спины не сразу узнал его. А узнав, хотел было пройти мимо. Но взгляделся и понял: болен Торопов. Какие счеты с больным человеком?

— Чуть было совсем мотор не отказал, — говорит Торопов, виновато улыбаясь. — Да вот вроде отпустило немного.

Григорьев молча сел рядом.

— Знаешь, бывает такая везучая лошадь. Все тянет,

тянет, сколько ни нагрузи — свезет. И понукать не надо. А потом упадет вдруг и хоть стегай, хоть не стегай,— отвозилась. Вот и я отвозил свое, видно.

Они сидят рядом, смотрят в степь. За хлебами, как дым, стоит пыль над дорогой, невидимой отсюда. Разговор вяжется нелегко.

— А я завидую тебе, Федор Иванович,— говорит вдруг Торопов.— Вот ты и снят, и разжалован, так сказать, а чувствую, победишь ты. Победишь, уж я чувствую.

Григорьев молчит. Спорить с больным Тороповым, волновать его он не хочет, но и говорить по душам, как они прежде говорили между собой, не может еще.

— Молчишь ты... Я тут думал, итоги, так сказать, подводил. Из тех, что со мной прежде на одних должностях работали, есть теперь такие — рукой не достать. А я на каждой ступеньке не то что отсидеться — отоспаться успевал. Хорошо идут дела — обо мне забудут, плохо — и вот начинают стегать телефонные звонки. И мчишься. В грязь, в дождь, в самую ростепель. Пока туда едешь, пока обратно, да ждешь, что тебе будет, сердце то так, то так... Вот на этих дорогах я растерял свою смелость. Сейчас назначили секретарем райкома, а я уж не рад. Все же тебе легче тогда было держаться. Тебя сняли с секретарей — ты агрономом пошел работать. Этого-то от тебя не отнимешь. А какая у меня профессия? Куда я пойду? И детей трое.

— Когда нам страшно, мы всегда думаем, что другим легче,— нехотя сказал Григорьев.— Другим и помирать легче. Ну, да не твоя вина самая главная. Прости, не вовремя говорю: болен ты сейчас. Но я вот шел — овец гонят. Завтра в областной газете появится заметка: «Колхозы досрочно выполняют план мясопоставок». А на будущий год в эту пору будут совещания созывать, во все звонки

звонить, потому что план выполнить будет нечем. И это еще не все. Зимой народ потечет из колхозов. Я слушаю тебя, а не могу об этом не думать.

Вдали показалась на дороге повозка: голова лошади и парень в синей рубашке по пояс, движущийся над хлебами.

— Э-ей! — закричал, замахал Григорьев. Повозка свернула в хлеба на полевую дорогу и вскоре подкатила.

— Давай-ка, Василий, помоги, — узнав парня, сказал Григорьев.

Они вдвоем посадили Торопова.

— Ну, выздоравливай. Мне вот этой тропкой. И сразу врача вызови. Сейчас, знаешь, лекарства всякие...

Торопов что-то хочет сказать и смотрит на Григорьева, потом говорит только:

— Ну, будь здоров.

Дома Григорьева ждет испуганная Шура.

— Тебя в обком вызывают. Ты не знаешь зачем?

— Ну что же нам раньше времени пугаться? — говорит Григорьев ласково. — Давай лучше ужинать будем. Я помогу тебе.

И оттого, что их, может быть, ждут новые испытания, а главное, оттого, что Шура тут одна без него волновалась, он особенно бережно относится к ней. Шура уже на последнем месяце, ей трудно ходить. Федор сам носит из кухни тарелки.

Когда садятся, входит Лихобаба, председатель колхоза. Прежде всего ищет, куда пристроить фуражку, потом уж здоровается:

— Вечер добрый.

— Садись с нами, — приглашает Григорьев. Шура хочет

подняться за тарелкой, но Лихобаба останавливает ее
— Спасибо, поевши.

Григорьев ест, Лихобаба внимательно сворачивает папироску, Шура тревожно смотрит на обоих. От их спокойствия ей страшно становится.

Стук в дверь. Входит Ефимов, за ним всовывается старая облезлая овчарка.

— Куда?! Назад!

Подходит к столу, молча, тяжело садится. На него смотрят.

— Баранинку едите? Осень подойдет, подешевеет баранинка. Отвел,— говорит он Лихобабе.— Вон с ней вместе отвели,— кивает он на дверь.— Гоним, а вороны, как скажи, догадались. Карр! Карр! Всю дорогу не отставали. Я, Александра Васильевна, выпил сегодня.

— Это год назад в Новой Рачейке тоже случай был,— простодушно говорит Лихобаба.— Рощица там небольшая загорелась невесть с чего. Сам я лично видел, как пожарные проехали. Через час возвращаются — все пьяны, как братья, ноги свесили, песни поют. Где они смогли набраться, когда там, кроме пожара, ничего не было,— уму непостижимо!

— Не отрекаюсь,— говорит Ефимов.— Но мне же обидно. Вот Александра Васильевна. Три года мы с ней работали. Где еще по стольку шерсти с овцы настригали? Федор Иванович, ты мне партийный билет вручал. Скажи мне, как оно получается? Живем мы на этой земле, работаем, а какой-то человек — он и знать-то меня не знает и видеть не видел — спланировал, как ему вздумалось, и всю мою жизнь как колесом переехал!

— Партийный билет я тебе вручал, это верно,— спокойно говорит Григорьев,— а все же ты не шуми. Шуметь не надо. У хозяйки дети спят, они ничего этого пока еще

не понимают. Завтра мы с тобой поговорим. Завтра у меня день такой подходящий отвечать по всем статьям.

В приемной секретаря обкома тишина. Телефонные аппараты на столе помощника. Звонит один телефон. Помощник поспешно схватывает трубку, говорит приглушенным голосом:

— Да... Да, началось.

Звонит другой телефон. Помощник так же поспешно схватывает трубку и, продолжая разговаривать, держит ее на весу.

— Да... да, да... Ничего сейчас не могу сказать.

Кладет трубку, берет к уху другую.

— Да... Да, началось...

Входит работник аппарата Семин с папкой. Кивает на закрытые двери:

— Началось?

Помощник отвечает кивком, продолжает слушать. Звонит третий телефон. И эту трубку он берет и держит на весу.

Семин смотрит на часы над дверью — на них уже двадцать минут четвертого — и, развернув папку на уголке стола, листает отпечатанные бумаги, соображает что-то.

— Значит, меня не вызывали?

Помощник отрицательно качает головой, кладет вторую трубку, как по конвейеру берет к уху третью.

— Да, да... Началось...

Шура одна в комнате сидит, шьет. Хлопает дверь. Шура поспешно оборачивается, но, увидев, что это хозяйка, опять принимается за шитье.

— Колька мой не приходил? — кричит хозяйка из-за перегородки.

В это время по улице проходит машина. Подождав, не остановится ли, Шура отвечает:

— Нет, не был.

Шура со вздохом переводит стрелку часов назад: еще только пять часов.

Спустя некоторое время входит хозяйка, садится основательно.

— Прошлый раз я тебе про мужика моего не досказала... Вот, значит, приходит он вечером. Двенадцатого пятнадцать минут. «Где ж ты,— говорю,— был до этих пор?» — «Где? Правление созывали, тебе неизвестно?» А я-то уж знаю, когда правление кончилось. Уборщица правленческая Ульяниха вон через три дома от нас живет. Как шла мимо, постучалась в окно: «Никитична, правление кончилось. Гляди-и...»

Опять по улице идет машина, где-то далеко еще. Шура подымает лицо, вслушивается. И в этот момент ничего для нее не существует, кроме вот этой приближающейся машины. Звук мотора замер: видимо, машина, не дойдя, свернула в проулок. Шура еще некоторое время ждет. Хозяйка сбоку с видом: «Вот уж я этого не понимаю!» — смотрит на нее.

Помощник секретаря смотрит на часы над дверью. Стрелки вытянулись в одну линию: шесть. Вдруг дверь распахивается, нахмуренный, властный человек шагнул через порог.

— Семина где? Семина с папкой.

И вновь захлопывается дверь. Помощник кидается в коридор за Семиным. В пустой приемной звонит сначала один телефон, потом два, потом три сразу. Постепенно звонки смолкают. Входит помощник, за ним — Семина. Он

волнуется. Перед дверью в кабинет секретаря обкома прокашливается, словно ему там петь.

Он входит и почти сейчас же возвращается обратно. Ваволнован и от этого торжествен и комичен немного. Они обмениваются взглядами. «Как?» — спрашивает помощник. «В самом разгаре», — взглядом же отвечает Семин.

Шура уже не шьет. Она сидит с напряженным лицом. Она уже не может ждать больше, мысли приходят одна страшней другой. А хозяйка, ничего не замечая, как соловей, поет о своем:

— ...У четырех детей отца отнять хочешь? У нас их тогда четверо было, Олька после народилась. Детей по-сиротить? Уж я ее взяла в разгон, — с восторгом рассказывает она.

Опять возникает за окном звук идущей машины — в который уже раз! Опять вспыхивает надежда в глазах Шуры. Машина проходит мимо. От ее гудения дрожит стеклянная пробка в графине.

— Я поеду, — решительно говорит Шура.

— Твое дело.

Хозяйка не одобряет ее, а главное, оскорблена, что не дослушали, прервали рассказ на самом интересном месте.

— Если вдруг мы разминемся и он раньше приедет, так вы скажите ему, чтоб он не волновался. — говорит Шура, собираясь. От поспешности она никак не может заколоть волосы.

Шура у перекрестка ждет попутную машину. Вот показывается грузовик. Шура поднимает руку. Грузовик остановился. Шура садится в кабину.

Уже начало смеркаться, и шофер включил фары. Их отсвет падает на лицо Шуры. Оно напряженное. Чем ближе к городу, тем тревожней оно. Шофер поглядывает на Шуру сбоку.

Официантка в белой кофточке, в белой наколке, с высокой грудью несет поднос с чаем под белой салфеткой. В каждом стакане — кусочек лимона.

В тот момент, когда официантка проходит, разговоры в приемной смолкают. Здесь уже несколько работников аппарата. Они взволнованы.

Шура видит, как по ступенькам сбегает помощник секретаря, о чем-то говорит с шофером, и одна из машин отходит. На ее опустевшем месте повисает бензиновое облачко. Остальные машины все так же стоят у подъезда, отражая лаковыми боками свет фонарей.

Шура в волнении ходит по узенькому переулочку сбоку здания обкома. Здесь почти все окна потушены, и на фоне неба здание выглядит огромным каменным квадратом. В областных городах всегда есть рядом с центром такие узенькие, темные переулки, как ручейки в озеро, впадающие в главную площадь. Шура ходит взад-вперед.

Из ресторана с двумя матовыми электрическими шарами над входом вываливается подвыпившая компания молодежи. С хохотом шумно садятся в «Москвич», ожидавший их. «Москвич» трогается.

Шура в тревоге ходит по переулку, обрывая с деревьев то один, то другой лист и измельчая их в кусочки. Вдали,

в конце переулка, показались лучи фар. Фары потухли, зажглись подфарники.

Компания молодых людей в «Москвиче». В свете фар они заметили идущую впереди Шуру. Они видят ее со спины, и может показаться, что девушка просто прогуливается под деревьями, ждет свидания в условленном месте. Почему не поухаживать? Водителю пришла в голову веселая мысль.

— Айн момент!..

Он гасит фары. Шура идет впереди. За своими мыслями она не слышит машину. Машина догоняет ее. Тихо движется сзади на расстоянии метра. Водитель делает всей компании веселый знак и — резкий сигнал позади Шуры. И одновременно в четыре опущенных окна высовываются головы молодых людей. Четыре стандартные улыбки, четыре галстука...

Шура, вздрогнув от сигнала, отскочила, обернулась в ужасе. Молодые люди видят, что она беременна. Четыре головы, как улитки, втягиваются в машину. Машина, описав дугу, скрывается, поддав газу.

Шура стоит, держась за ствол дерева. Губа закушена, в огромных глазах — мука. Идущая мимо женщина останавливается.

— Что с вами?

Видит, что с ней.

В глухом переулке, уткнувшись радиатором в мусорную кучу, стоит «Москвич» с потушенными фарами. Четыре нашкодивших молодых человека смотрят друг на друга.

— Влопались!

Толпа вокруг Шуры. Голоса:

— В какую сторону скрылись?

— Их разве теперь найдешь!

— Машину надо вызвать.

— Да вон машин сколько стоит без дела.

Один из толпы — шофер — кидается к своей машине, стоящей у подъезда обкома. Садится в нее.

— Гаврилов! — кричит он шоферу соседней машины. — Если меня спросят, скажи, женщину повез в роддом. Такое дело получилось...

Кончилось совещание в кабинете секретаря обкома. Выходит Григорьев, рядом с ним — Грибанов. На лице у Грибанова облегчение: пронесло на этот раз, «дежурный пример» сделают не из него. Он как первый друг идет рядом с Григорьевым, и уже по этому можно судить, что положение Григорьева изменилось. И изменилось к лучшему.

Грибанов сам под локоток провожает Григорьева к своей машине, выходит на улицу с ним:

— Отвезет тебя мой шофер. Да ты его знать должен!.. Хотя нет, новый, недавно у меня. Но ничего, парень хороший. Отвезет, можешь не стесняться.

И не уходит, а ждет, пока Григорьев усядется. Мнет в своей руке его руку:

— Вот так, Федор Иванович, дорогой... Сейчас инициатива требуется прежде всего. Поддержим...

Наконец машина трогается.

— Как поедемте? — спрашивает шофер.

— Поедем как? — Григорьев немножко пьян победой. — Где у вас тут лучший кондитерский магазин?

— Есть лучший магазин. И что-нибудь такое найдем.

— Что ты имеешь в виду?

— Обыкновенно. Подарок супруге хотите сделать.

— Диплома-ат!

— Так ведь маршрут в общем-то известный.

Григорьев теперь уже смотрит на него с интересом.

По дороге, развлекая пассажира, шофер рассказывает свежий случай:

— Не слышали, что у нас тут в переулке случилось? Вот так женщина шла. Вот так догоняет ее машина (он все это показывает руками на руле). Сынки подвыпившие возвращались. Подъехали вплотную и — сигнал! А она беременная... Пошутили.

Григорьев, весь еще под впечатлением закончившегося заседания, улыбаясь своим мыслям, смотрит сквозь стекло вперед. Он слышит, что рассказывает шофер, но смысл доходит до него с большим опозданием.

— Что, что?

— Пошутили, говорю. Подъехали к беременной женщине и засигналили. Конечно, повезли ее в роддом. Вот так она шла. Вот так...

— Когда это было?

— Да минут сорок назад.

И, конечно, первая мысль Григорьева о Шуре.

— Женщина молодая?

— Не видал, врать не стану. Но, наверное, не старуха.

— В какой роддом повезли? Это можно узнать?

— А их всего три. Не в том, так в том окажется.

— Поехали...

Вестибюль роддома. Несколько мужчин с вещами, несколько женщин. Старший лейтенант милиции ходит вдоль окон, строго заглядывает за шторы, отодвигая их рукой, пробует пальцами крепость шингалетов.

Григорьев нервно курит на лестнице, все время поглядывая сквозь стеклянную дверь в вестибюль.

Перед открытой дверью на улицу стоит снаружи муж и, сложив ладони рупором, кричит вверх жене:

— Я волнуюсь.

— Я тоже волнуюсь,— откуда-то сверху доносится женский голос.

— Тогда о чем же думают врачи?— возмущается муж внизу.

В вестибюле другой муж с добродушной улыбкой, держа на колене свернутые вещи жены, рассказывает наивно:

— Мы напротив живем, так мы тут часто...

Старший лейтенант милиции, проходя, строго прислушивается.

Из заветных дверей выходит наконец женщина в белом халате, ищет глазами кого-то. Григорьев поспешно бросает папиросу, и все, как цыплята к птичнице, поспешно кидаются к ней.

— У вас — сын,— говорит она Григорьеву,— поздравляю.

Он оборачивается назад, так как полагает, что говорят это кому-то другому сзади него.

— У вас, у вас сын...

А в доме Назаруков в этот вечер Лидия ходит по комнате, как последние драгоценности, сжимая пальцы. Почему-то разбросаны вещи, стоит раскрытый чемодан, словно переезжать собираются. Назарук — он еще в том костюме, в котором был на бюро, — то садится на один из стульев, то принимается тоже ходить по комнате. И говорит:

— ...Решили пожертвовать мною. Под угрозой план поставок. Должен быть кто-то виноватый. Назарук! В та-

ких случаях всегда найдется какой-нибудь Назарук. Я неправильно руководил. Зажимал, подменял, администрировал. Хорошо! А вы где были в это время? Вы же мои начальники. Да стоило вам слово сказать, и что бы тогда значил Назарук? А снимают теперь Назарука.

Они ходят среди разбросанных вещей.

— Слушай,— говорит Назарук,— помнишь, ты рассказывала, как твой отец в революцию спас жизнь кому-то из крупных?

— Да, да, да. Совершенно верно.

И у обоих вспыхивает надежда.

— Постой, я сейчас поговорю с матерью.

Оставшись один, Назарук нетерпеливо ждет.

Лидия вводит Марию Кузьминичну. На этот раз с ней разговаривают бережно, ласково, совершенно не так, как всегда. За ней ухаживают. Лидия, усадив, говорит с матерью, а Назарук из угла помогает нетерпеливыми жестами.

— Мамочка, ты когда-то рассказывала мне, как папа в революцию, на фронте, кажется, спас какого-то большого человека? Вспомни, пожалуйста.

— Ну как же, помню. Иван Васильевич Курепко его звали. Отца — Василием Ивановичем звали, а того — Иван Васильевич. Хорошо помню...

Лидия смотрит на мужа, тот не слышал такой фамилии.

— Кто он сейчас, этот Курепко?

— А нет его сейчас, Ивана Васильевича. Не дожил. Он уже тогда был в годах. И ранений у него столько за гражданскую войну... Хороший был человек. Очень хороший.

Общее разочарование. И опять вспыхивает надежда.

— Постой! А был еще у папы знакомый. В Москве.

У нас как-то проездом останавливался. Ты помнишь, конечно.

— Помню. То большой человек сейчас. Но отец ведь самолюбивый был. Бывало, к каждому празднику, ко дню свадьбы нашей тот обязательно присылал телеграмму. Отец уж после, спустя время, ответит. А чтоб сам, первый — ни за что. «Чего это, — говорит, — стану я к начальству в друзья набиваться. Если мы с ним товарищи, значит — сам обо мне вспомнит, а я зря деньги на телеграммы выкидывать не стану».

Впервые в этом доме никто не прерывает Марию Кузьминичну. И она охотно вспоминает все эти подробности, связанные с ее мужем. Она вся сейчас в прошлом и не замечает, как зять и дочь нетерпеливо переглядываются.

— Мамочка, — прерывает ее наконец Лидия. — Я думаю, тебе надо будет к нему съездить. Видишь, вся эта история с овцами, весь этот несчастный неурожай — все это хотят сейчас повернуть против Геннадия Павловича. Если его снимут... Это еще не решено, но ты понимаешь, что это для нас для всех означает? У нас взрослая дочь. К тому же у него нет диплома. Пока другие дипломы получали, он всего себя работе отдавал, — говорит Лидия с неожиданной злобой. — Конечно, у них теперь положение выгодней. Я думаю, если ты поедешь, он не откажет тебе. В память папы.

Теперь Мария Кузьминична понимает, зачем позвали ее, почему так ласковы были с ней, почему слушали, не прерывая, все ее обычно неинтересные здесь истории. И ей больно, что с ними она делилась дорогими воспоминаниями об отце.

— Нет, дочка, в Москву зачем же мне ехать. С отцом поехать не привелось, а уж одна не поеду.

— Мы тебя посадим в мягкий вагон.

— Я вам объяснить все это не сумею, но только в Москву я не поеду.

И в этот момент она такая же, как всегда, тихая, мягкая, печальная. И, как всегда, много в ней внутреннего достоинства.

— Ты — враг в доме! — кричит Лидия.

— Какой же я враг?

— Враг! Тебя надо бояться. При тебе нельзя дома разговаривать.

Мария Кузьминична встает и уходит на кухню, чтобы не услышать чего-нибудь еще хуже от собственной дочери. На кухне ждет ее Светланино платье, разложенное на столе, Мария Кузьминична гладила его перед тем, как ее позвали в комнаты. Здесь же, на столе, стоит будильник, заведенный на определенный час. Взглянув на него, Мария Кузьминична поспешно ставит молоко на газ: Светлане надо перед отходом поесть.

За окном качается ветка дерева. На ней уже первые осенние желтые листья. И желтый лист прилип к стеклу. Воробьи что-то клюют на подоконнике, стуча клювами по железу. Они клюют и заглядывают в кухню сквозь стекло.

С тряпкой в руке Мария Кузьминична стоит над кастрюлей, думает и в то же время смотрит, чтоб молоко не убежало.

— Мама! — кричит Лидия из комнат. В кастрюле уже подымается молоко, Мария Кузьминична дует на него и потому отвечает негромко:

— Сейчас.

— Бабушка! — кричит Светлана.

Снова крик Лидии:

— Мама!

Мария Кузьминична за одну ручку уже несет впереди себя кастрюлю. Кастрюля полная, тяжелая, а тряпка слишком маленькая, и ей жжет руки. Она вся сосредоточилась сейчас на одном: донести, не пролить, и потому не отвечает.

— Мама!

— Бабушка!

— Мама!

А в тот момент, когда Мария Кузьминична с кастрюлей впереди осторожно проходит мимо стола, на столе вдруг резко зазвенел будильник. Кастрюля дрогнула, молоко плеснулось — вся пенка осталась на новом Светланном платье. И как раз Светлана, встревоженная, что бабушка так долго не отвечает, вошла в кухню. Она увидела платье и сразу же забыла все остальное.

— Лучшее платье мое!

Схватив его, разглядев всю огромность потери, она начинает совать его Марии Кузьминичне:

— Стирай теперь, стирай!

— Это ты мне так говоришь?

— Стирай!

— Я бабушка тебе. Как ты можешь так говорить со мной? — спрашивает Мария Кузьминична с болью.

— Могу вот! Как хочу, так с тобой и буду говорить. Ты — враг в доме!

Вошла мать. Взглянула на платье, берет его из рук Светланы.

— То есть это надо уметь. Не знаю, какие должны быть руки, чтобы так испортить вещь.

— Вот пусть отстирывает теперь! — кричит Светлана, вовсе осмелев в присутствии матери.

У Марии Кузьминичны одна рука ошпарена молоком, вокруг нее на полу лужа, перед ней, как улику, держат

испорченную «вещь». Она могла бы сейчас выглядеть жалкой. Но тем сильнее подымается в ней ее человеческое достоинство.

Молча, не говоря ни слова, она снимает с гвоздя платок, расстилает его на стуле и начинает складывать в него свои вещи. Она сворачивает в трубочку деньги, кладет в боковой карман и закалывает их английской булавкой. Это бунт, и в первый момент Лидия вспыхивает гневом.

— Так! Очередная демонстрация! Теперь вы хотите показать, что вас превратили в домработницу, выжили из дому.

Она швыряет платье на стол, и под платьем начинает жалобно звенеть давно уже умолкший будильник: у него, оказывается, еще сохранился завод.

— Если вам будильник выставляют на кухню, так это только потому, что вы вечно все забываете, а вовсе не затем, чтобы подгонять вас.

Мария Кузьминична молча укладывается. И каменное молчание матери, ее лицо начинают пугать Лидию.

— Светлана, идем из кухни!

Когда они ушли, Мария Кузьминична, потеряв ожог стиральным мылом, завязывает руку. Потом опять укладывается. Спустя время в кухню с сердитым лицом заглядывает Светлана. Понаблюдав немного, она идет к матери. Лидия и Геннадий Павлович пишут какую-то бумагу. Они недовольно обернулись.

— Мама, она собирает вещи.

— Не твое дело, — холодно отвечает Лидия.

Мария Кузьминична укладывается. Опять в дверях появляется Светлана, нерешительно стоит у притоки. Снова идет в комнату:

— Мама, бабушка уезжать хочет.

Лидия не отвечает. Тогда Светлана, подумав, начинает

действовать сама. Войдя в кухню, она сперва молча стоит перед Марией Кузьминичной, как бы позволяя, чтобы с ней заговорили. Не дождавшись, начинает первая, но без обращения, а прямо:

— Платье не очень испорчено. Оно, наверное, отстирается.

Молчание.

— Оно мне не сегодня нужно...

Молчание.

— Бабушка, ты руку обожгла? А ты мылом помазала? Я всегда, если обожгу, мажу мылом. Потому что мыло — это щелочь...

Мария Кузьминична как не слышит.

— Бабушка, я больше не буду. Честное слово, бабушка. Не уезжай.

Решительно появляется в дверях Лидия. Она хватается Светлану за руку: «Я тебе сказала не вмешиваться!» — и влечет в комнату. Дверь закрывает на ключ.

— Я вам не позволю травмировать ребенка! — кричит она.

Светлана барабанит в дверь пятками:

— Бабушка, не уезжай, бабушка... Честное слово, я никогда в жизни не буду! Бабушка!..

С узелком в руке Мария Кузьминична стоит у выхода. Она слышит, как Светлана бьет в дверь, и ей невыносимо тяжело сделать этот последний шаг. И все же она уходит. Но и на лестнице слышит она эти удары. А может быть, это только в ушах отдается?

По проселочной дороге, проваливаясь в глубокие колеи то одним, то другим колесом, движется телега. Сидит в ней Мария Кузьминична, по-крестьянски повязанная платком,

с узелком на коленях. Боком к ней, свесив тяжелые, грязные сапоги над передним колесом, — возница. Он в зимней шапке, в телогрейке, дымит сигаркой.

— ...Так вот его вызвали, Торопова, на комиссию, послушали врачи со всех сторон и решили поставить на пенсию, раз ему состояние здоровья позволяет. А Федор Иванович, он и теперь агрономом работает в «Красном маяке».

Едут некоторое время молча. У Марии Кузьминичны до сих пор в ушах Светланин голос и то, как она кулаками и пятками била в дверь.

— Ну и что же, хороший человек был этот секретарь райкома?

— Торопов-то? — словно обрадовавшись чему-то, оживляется возница. — А он уж почитай двадцать лет в этом районе на разных должностях. А вот хороший он или нет, этого я тебе не скажу. Потому как не знаю. Или, проще сказать, мне это неизвестно.

— Люди, наверное, говорят что-нибудь все-таки.

— Люди? — опять как будто обрадовался возница. Особенность его речи в том и состоит, что всякую фразу он начинает говорить радостным, заздравным голосом, а под конец обычно скажет что-нибудь заупокой. — А люди, что они говорят. Вот хоть я, к примеру. Ты спроси, хорошая у меня жена или, проще сказать, супруга? Сегодня спросишь — я тебе так скажу. А придешь, спросишь завтра, и я тебе это же самое вовсе навыворот буду рассказывать. Вот у нас такой случай был...

В это время к дороге вышел трактор, развернулся и двинулся назад, запахивая плугами нескошенный хлеб.

— Вот те и случай вышел, — глядя ему вслед, говорит возница, поглаживая голый подбородок. — Сеяли, сеяли,

а убрать даже на семена не пришлось. Семян и тех не вернули, одна соломка...

И он в сердцах хлестнул лошадь вожжами:

— Но! Сроду ты у меня за всякий грех виноватая.

Окраина города. Заборы. Дома не выше заборов. Редкие деревца.

Вечереет.

У водопроводной колонки, где грязь размешана множеством ног, стоит Светлана. Это она убежала за Марией Кузьминичной, как собачка по следу. Колени оцарапаны, платье испачкано. Но вся ее тоненькая фигура выражает решительность, лицо сердитое.

Вот показалась легковая машина. Светлана подымает руку. Машина проносится мимо. Светлана презрительно смотрит вслед ей.

В конце переулка блеснули фары грузовика. Светлана опять подымает руку. Свет фар становится сильнее, ослепляет ее. Она стоит с поднятой рукой, тоненькая, гневная.

Мария Кузьминична и Шура сидят за столом. Уже вечер. На столе лоскуты, шьется что-то маленькое. В углу — детская кроватка.

— Ты фланельку сохраняй. Теперь тебе всякий теплый лоскут годится. Животик у него заболит — теплое положишь. У детей первое дело животик и ушки.

«Ушки, — мысленно умиляется Шура. — Там все тронуть страшно».

В сенях шаги. Она прислушалась.

— Федя пришел. Сейчас будем ужинать.

И увидела, как мать отчего-то забеспокоилась, словно ей неприятно, что Федор сейчас увидит ее.

— Я сейчас, — предупреждает Шура.

В сенях она тихо говорит мужу:

— Федя, у нас мама. Там, по-моему, что-то случилось. Я чувствую, она скрывает от меня что-то. Мне даже кажется, что она насовсем к нам приехала, но уверяет, что только проведать.

— Ты не беспокойся, — говорит он. — И в дом, в дом войди. Тут в сенях продует тебя.

Когда они входят, лоскуты со стола уже убраны, Мария Кузьминична расставляет на столе чайную посуду.

— Здравствуйте, мама, — говорит Григорьев, одним глазом кося в кровать. — А уж мы вас давно ждем.

— Вот приехала проведать. Переночую, если не прогоните, а утром обратно. Лида меня очень просила, чтоб непременно утром возвращалась. — Ей трудно говорить неправду, но еще труднее молчать сейчас. — Тесней у вас против прежнего. Вовсе даже тесно. Мы, когда Шурочку ждали, тоже снимали у хозяев пол-избы. Вот так у нас печь была, на ней Андрюша спал. Так мы спали. Тут Лидочкина плетеная корзинка стояла: она у нас до двух лет в корзинке спала. Ее в детстве не слышно было. Такая была тихая, ласковая...

И она задумывается горько, не замечая, что Шура и Федор смотрят на нее. Шура глазами указывает мужу на стул у входа, где, прикрытый шалью, незаметно лежит узелок Марии Кузьминичны. Мария Кузьминична спохватывается. Видит и взгляд этот, все видит. И тогда она говорит со всей прямоотой:

— А на кого ж я Светлану брошу? Я-то знаю, у нее душа, как свечечка, в темноте теплится. Кто заглянет в нее с лаской, к тому огонек и потянется.

За окном — далекий, звонкий детский голос:

— Скажите, в каком доме Григорьевы живут?

Все в комнате замерли, прислушиваясь, еще не веря. Стук в дверь. Хозяйка идет открывать, и сейчас же в сенях слышен голос Светланы:

— Скажите, здесь Григорьевы живут?

С задрожавшим лицом Мария Кузьминична идет к дверям.

А там уже Светлана, в легком, совсем не для такого осеннего вечера платье, повзрослевшая, словно сделавшаяся выше.

— Я тебя еле нашла! — говорит она сердито. И со всей силой пережитого испуга, с тем правом, которое дает только любовь, она упрекает Марию Кузьминичну: — Как ты оставила меня? Тебе хоть стыдно?! Я сколько буду жить, я тебе никогда этого не прощу.

А Мария Кузьминична гладит ее лицо, ее руки и плачет от счастья. Это счастье, когда в старости знаешь, что и жизнь твоя и сама ты нужна любимым людям.

1956 г.

Стояла короткая пора бабьего лета. Росными холодными утрами все позже, неохотней всходило солнце. В его косых лучах зябли красные и мокрые верхушки осин, горький желтый цвет осени тронул березы, с них сыпались листья сами собой, без ветра, и пахло в лесу грибами. Но днем солнце грело по-летнему, в прозрачном воздухе хлопьями носилась паутина и блестела на стерне.

— Какую погоду упускаем! — нервничал всю дорогу Вахтин, высовываясь из машины. — Какую погоду!

Мы должны были привезти в редакцию фотоочерк об агрономе Иванникове, человеку довольно известном, о котором уже много писали. Но Вахтин в тайне души надеялся сделать еще цветную обложку для журнала. Всю жизнь фотографируя людей, чем-либо прославившихся, Вахтин верил, что рано или поздно блеснет и его счастливая звезда. Сейчас, в пятьдесят лет, он верил в это еще сильнее, и все его мечты слились в прекрасную, глянцевитую, цветную обложку журнала, которую ему до сих пор ни разу сделать не удалось.

Мы приехали утром, и до позднего вечера Вахтин таскал свою жертву за собой. Он фотографировал Иванникова то в трехметровой кукурузе, то с двумя белыми отборными кочанами капусты в руках, то присевшего на корточки между грядками. Иванникову все это было не просто: мешал протез; от него при ходьбе оставался в рыхлой почве глубокий вдавленный след. Но еще мучительнее чувствовал он себя, когда Вахтин, подозвав нескольких колхозниц и соответственно расставив их вокруг агронома, говорил: «Так... Теперь вы объясняете им свои методы работы» — и наводил объектив.

На следующее утро мы пришли к Иванникову домой.

Здесь уже все были готовы и ждали. Двое мальчиков, лет девяти и шести, вежливые и встревоженные, поздоровались тихими голосами. Они стояли, ни на что не облакачиваясь, чтобы не помять выглаженных рубашек.

Вахтин профессионально оглядел их, оглядел Иванникова и стянул со своей худой шеи галстук:

— Наденьте...

— Я уже предлагала. Не любит он у нас галстуков: шею теснят, — заговорила жена, улыбкой смягчая этот его недостаток.

Глядя на нее, я тоже невольно улыбнулся, и отчего-то на душе у меня стало празднично. Звали ее Катерина Михайловна; муж звал ее Катей, и выходило это у него бережно. Она была красива спокойной, зрелой красотой, какую только дети дают женщине. Эта красота во всем: в жестах, в полном звучании голоса, в глубоком, теплом свечении глаз. Когда такая женщина встретится вам, вы не запомните платья ее, но что-то доброе и хорошее останется на душе.

Все же Вахтин сказал:

— Покажите мне ваш гардеробчик.

Она охотно открыла шкаф и, пока он, соображая, переводил взгляд с платьев на нее, ждала спокойно, готовая поступить, как ей скажут. Видно было, что одевается она сейчас не для себя — для детей и мужа, и все происходящее не могло ни задеть ее, ни оскорбить. Вскоре она опять вышла. Она чуть покраснелась и помолодела, светло-карие глаза ее, позолоченные встречным солнцем, улыбались неуверенно, темные волосы, причесанные гладко, блестели. И как-то еще сильнее стало в доме ощущение праздника.

Вахтин долго «строил» фотографию, несколько раз заново рассказывал всех, и, когда Катерина Михайловна оказывалась сзади или сбоку где-нибудь, Иванников беспокоил-

ся, все хотел что-то сказать. Она мягко останавливала его:
— Вася, товарищ знает.

Собственно, в этот день мы могли бы уже ехать, но Вахтин решил сделать на месте контрольные отпечатки. В доме, где мы остановились, он заперся в темной комнате и вышел из нее только поздно вечером, неся перед собой хозяйкин чистый таз с фотографиями и устало жмурия глаза на свет. Мы вынимали их из воды одну за другой, мокрые, блестящие под электричеством. Некоторые Вахтин тут же рвал. Против обыкновения он был задумчив.

— Удивительный типаж,— сказал он, показывая Катерину Михайловну на фотографии. Она стояла сбоку, смотрела на мужа и детей, и весь снимок казался мягко освещенным.— В каждой картине,— продолжал Вахтин тоном лектора,— должен иметься источник света. Уберите его, и краски погаснут.

Он молча закрыл лицо Катерины Михайловны, и снимок в самом деле как будто погас, исчезло ощущение праздника. У всех троих были стандартные позы людей, знающих, что их фотографируют.

— Скажите, она чем-нибудь награждена? Медалью хотя бы?

Хозяйка, стоявшая за нашими спинами и тоже рассматривавшая карточки, вздохнула, как она всякий раз делала, прежде чем сказать что-либо.

— Ничем она не награжденная.

Мы посидели еще немного.

— А как бы хорошо...— сказал Вахтин.— Муж — агроном-новатор, жена — известная, скажем, доярка. Досадно...

И он стал раскладывать фотографии для просушки.

— И ничем она не известная, и ничем не знаменитая,— заговорила опять хозяйка, по всей видимости, продолжая свою мысль.

Вахтин поспешно закивал:

— Да, да, да...

Завтра мы должны были ехать рано, и он опасался, что рассказ затянется. Но хозяйка вытерла руки передником и присела на табурет.

— Я ведь их обоих вот такими знала. И на свадьбе у них погулять пришлось. Все было: и свадьба, и гулянье, пожить только не успели — война началась. Вместе их и забрали: Васю и сыночка моего. В Пугачеве-городе они учились сначала. Где это Пугачев?

Я объяснил.

— Вот и другие говорят так. Далеко это от нас... Как стали немцы к Воронежу подходить, прислал мне сыночек одно письмо: «Мама, жив буду — напишу еще. Бои идут огромные». И с тех пор ни письма, ни извещения. После я уж сама узнавала, люди научили, куда обратиться...

Хозяйка задумалась, глядя в пол. Лицо у нее было строгое, глаза потухшие.

— А Кате похоронная пришла. Только я утром жар загребать стала — прибегает соседка: идем, Григорьевна, Катерина, мол, Иванникова на мужа похоронную получила. Я как услышала, села вот тут на лавке и сдвинуться не могу: вместе ведь они были. Так вдруг страшно сделалось. И опять же раздуматься, чего идти? Горе дели не дели — его от этого не убавится.

Она, Катя, прежде веселая была, бесстрашная, много парней за ней стежки утапывали. А с этого дня сгасла, как будто нет ее в деревне. И от родителей отдалилась. У них своя жизнь, свои заботы, ее горе для них чужое. Ей теперь его родня ближе стала. Свекровь, правда, не могла простить. Мол, ты молодая, поплачешь да замуж выйдешь, твои слезы как роса на солнце. Но свекор, тот сочувствовал. Старик он был тихий, совестливый. На людях не

хотел виду слабости показывать, но как-то утром выхожу я — мы ведь соседи — смотрю: он по двору идет. Осторожно так ступает валенками, смотрит себе под ноги, а сам двумя руками за грудь держится. И глаза, как удитяти малого. А Катя была тут. Как закричит она. После уж вижу — сидят рядышком на бревне, у него в руках кисет прыгает, никак папироску не свернет. Часто я их с тех пор вдвоем встречала. Идут вместе с поля, разговаривают между собой потихоньку. Горе, оно роднит людей сильней радости.

А еще был у Иванниковых меньший сын, в школе учился. Так, бывало, Катя встретит его из школы, зазовет домой к себе, чтоб свекровь не знала. Поставит ему на стол что есть в доме лучшего, тот про свои дела рассказывает, про школьные, а она сядет напротив и смотрит на него. Он хотя лицом и не похож на Васю, все же брат, одна кровь. Ей и то приятно...

Так вот она отпоминала его, а весной приходит письмо от Василия. Мол, жив, нахожусь в госпитале, ждите вскоре домой. По этой войне ничего не удивительно. Другой и похоронен, а жив, на другого ни словечка, ни весточки. Поехала Катя встречать. Время весеннее, хотел председатель дать лошадь, да взять негде, хоть и случай такой: лошади в колхозе считанные были, как сев — приходилось коров припрягать. Уж на обратном пути я им встретила. Идут наизволок, дождь как раз прошел, дорога размякла. Впереди Катя идет, в сапогах, через плечо перекинута на ремне чемодан фанерный и вещевой мешок. Сзади Василий на двух костылях оскользается. «Катя, — говорит, — обожди. Дай я...»

А где уж ему. Она, конечно, успокаивает. Посмотрела я, как ремешок вдавился, и про себя подумала: «А ведь еще не так жизнь врежется в плечи. Как идете сейчас — так вам и по жизни идти придется. Выдержишь ли? Все-

таки жена, не мать». Конечно, воевал он и офицером был на фронте, но специальности-то никакой у него нету, да еще без ноги. Как хлеб добывать? Хочешь, не хочешь — иди сторожем или на другую какую-нибудь стариковскую работу. Но Катя не позволила. «Он, — говорит, — за нас за всех жизни лишился, он самого лучшего достоин. Хотел до войны на агронома выучиться, и теперь так будет». Годы тогда были тяжелые, даже сейчас вспомнишь, и то раздумье берет. А то война, сколько разрушено, и на всех мужчинских работах одни женщины. Но Катя ни с чем не считалась, у нее вся гордость в нем, чтоб он на агронома выучился. Бывало, посмотрю, как она его любит, а после ночь не могу спать. Вот, думаю, вернулся бы мой сыночек, тоже какая-нибудь женщина радовалась около...

Три года — это не один день. Их прожить надо. Василий с осени до весны в городе учится, а она и в поле и дома. Двух сыновей ему родила, воспитала почтительными. Это уж когда Василий стал в колхозе работать, по книгам доучивался — тут ей, правда, легче стало. Сейчас много народу приезжает к нам, спрашивают про капусту нашу, кукурузой интересуются. А я все думаю: вот он, Катин праздник. Много тут ее бессонных трудов.

Хозяйка вздохнула, поднялась с табурета и начала тряпкой вытирать стол.

— А так ничем она не знаменитая.

Уезжали мы ранним утром. Осенняя тишина была в воздухе, и вдали, просвеченный солнцем, таял дымок невидимого за гребнем паровоза. Лес за ночь стал еще ярче. Невысоко над ним поднялось солнце, по-утреннему нежаркое. Оно ласково освещало землю, дающую людям силу тепеливого мужества.

КАК Я ПОТЕРЯЛ ПЕРВЕНСТВО

В дальнейшем я не раз испытывал ревность, но тот случай запомнился мне навсегда. Возможно потому, что лет мне тогда было восемнадцать и сама ревность оказалась несколько необычной.

В то время, зимой сорок второго года, еще не было дважды Героев, трижды Героев, в ту пору на фронте орденоседец был редкостью. Это позже, к концу войны, к победе, стали щедро раздавать ордена. А в сорок втором году, в феврале месяце, еще далеко было до побед. В нашем арtpолку был человек, награжденный орденом Ленина. Первый. Один-единственный. Это был командир батареи. О нем знали все. Я тоже был первый. И тоже один-единственный. Дело в том, что я был самый молодой в полку. И вдруг прибыло пополнение и в этом пополнении боец — моложе меня. Когда-то это должно было случиться. Но тем не менее в тот день я испытал настоящую ревность.

Наморенный дальней пешей дорогой, напуганный близостью фронта, он, наверное, сидел в землянке, хлебал остывший суп из котелка, не подозревая даже, что одним фактом своего появления лишил меня первенства, к которому я уже прочно привык. Ему это не стоило никаких усилий, он пришел — и я стал никем. Вернее, я стал вторым. Но люди так устроены, что второй или двадцатый — это уже для всех безразлично. Интересен только первый.

Надо сказать, что из своего первенства я не извлекал никаких выгод. Более того, оно и для человечества, как я теперь понимаю, не представляло никакого практического смысла. Им нельзя было начать всенародное движение, на его основе нельзя было никого и ни к чему призвать, его даже нельзя было показать в отчетах. Но я был первый, и это мне было важно. Зачем — я и до сих пор не знаю.

Наверное, затем же, зачем вообще люди стремятся занимать место в сознании других людей. И в зависимости от этого бывают либо счастливы, либо несчастны.

Один раз, правда, я почувствовал выгоду своего положения. Но это было связано с наилучшими воспоминаниями. Меня вдруг вызвали к командиру полка. И когда я по глубокому снегу, по морозу, весь мокрый под телогрейкой от пота, явился по приказанию, робея и гордясь, что предстану сейчас перед майором Мироновым, командиром нашего полка, из землянки вылез на белый зимний свет солнца ординарец, весь пропахший керосином, пощурился, зевнул с паром изо рта:

— Прибыл? Вольно, сам такой дурак был... Скидай карабин, приказано тебя накормить.

Фронт наш, Северо-Западный, был голодный фронт. Тремя армиями окружили мы здесь Шестнадцатую немецкую армию, по численности равную нашим трем. А в середине окруженных немцев, в лесах, прочно держался партизанский край. От нас к ним и от партизан к нам ночью над лесами, над немцами летали самолеты.

Мы то окончательно смыкали кольцо, то немцы опять пробивали коридор к своим в районе фанерного завода. Эти так называемые бои местного значения шли, не прекращаясь. Но там действовала не наша, а две другие армии, и нам говорили, что все продукты отсылают им. Позже, в училище, я встретил ребят из этих армий. Они также чистосердечно были уверены, что все продукты отсылают к нам в Тридцать четвертую армию, потому что основные бои идут у нас.

Мы действительно и зиму, и весну, и лето наступали на станцию Лычково и на деревню Белый Бор. Сколько под ними безвестно полегло народу — я не знаю, живет ли там столько сейчас! В ясные погожие дни по ту сторону окру-

женной немецкой армии бывал слышен грохот этих боев.

Сотни машин, тысячи лошадей по жутким дорогам, по топам, по лежневке, с бревна на бревно, измочаливая их колесами, надрываясь, везли к фронту патроны, снаряды, продукты, чтоб армия могла воевать. Горы хлеба, горы мяса. И все это, растекаясь по окопам, съедалось мгновенно. Пятьдесят граммов консервов на человека на день, сколько-то сушеной картошки или пшена — это должны были доставлять — и маленькие, по девятьсот граммов, буханочки хлеба. Вот их, правда, доставляли. И выдавали регулярно, каждый день. Весной — мокрые, раскисшие, зимой замерзшие, хоть топором руби. Мы отогревали их у костров. Первой отмокала и снималась корка: невозможно было сразу же ее не съесть, — она пахла хлебом. Потом постепенно отпаривался мякиш, мокрый, липнущий к пальцам. И так до самой сердцевины, замерзшей в лед.

Партизаны рассказывали, что немцы по утрам пьют кофе и едят бутерброды: вот такой тоненький кусочек хлеба и вот такой толстый слой масла... Мы не понимали, как можно наестся бутербродами? Если в покинутых разбитых деревнях нам удавалось найти зарытую в земле пшеницу, мы варили ее по целому котелку и чаще съедали недоваренную: что не доварилось в котелке, доварится в животе. Но однажды разведчики принесли конину. После бомбежки на дороге лежала убитая артиллерийская лошадь, у нее, замерзшей, они отрубили ногу. Варил ее в ведре комиссар батареи, сам родом из-под Казани. Конина вскипала лиловыми пузырями, в них переливались все те цвета, какими переливается пятно нефти в луже воды. Зажмуриваясь, комиссар пробовал алюминиевой ложкой бульон и рассказывал о жеребятках, пасущихся под солнцем на шелковистой траве, зеленый сок которой у них на зубах. О жеребятках с пушистыми хвостами, мягкой шерстью

и нежным сладким мясом. А в ведре варилось черное мясо убитой артиллерийской лошади. Страшно бывало смотреть, как эти лошади по топким дорогам Северо-Западного фронта везут пушки, утопающие в грязи, почти волоком, вытягивая из себя жилы, упираясь ногами и дрожа... Даже когда мясо сварилось, оно было все из жил и неистребимо пахло потом.

Потом уже на юге, куда я попал после училища, бывало тоже и холодно, и голодно, и тяжело — война есть война, — но я не помню, чтоб так вспоминали и говорили о еде, как на нашем голодном Северо-Западном фронте, где не решался исход войны, а шли бои местного значения. Это были жестокие воспоминания: о том, кто что любил и ел, и как и сколько всего готовилось. А мне почему-то вспоминалось не то, что я ел, а то, что осталось несъеденным, что мог бы съесть и не съел. И среди всего этого особенно вот что. Это была уже осень сорок первого года, немцы подходили к нашему городу, и мы эвакуировались. И вот когда все было собрано и готово, мы ночью последний раз в своих стенах ели перед дорогой. Я положил в чай сахару столько, сколько нам никогда раньше класть не разрешали: все равно сахарница и все, что в ней было, оставалось на столе. Но мне еще хотелось коркой хлеба вылизать жаровню, стоявшую прямо на клеенке. В ней жарилось мясо в дорогу и осталось от него на дне застывшее коричневое желе. Но я постеснялся.

Наверное старшим, кто прожил в этих стенах жизнь, каждую вещь наживал и внес сюда своими руками, а теперь должен был все бросить и уходить, нестерпимо было смотреть, как мальчишка спешит в последний момент допить чай, густой от сахара. И на меня в конце концов закричали.

Он так и остался на столе, недопитый стакан чая, са-

мый сладкий за всю мою жизнь. Больше терялось потом и забывалось с легкостью, а вот его почему-то помню.

...Ординарец вынес из землянки котелок, от которого шел пар, поставил на снег, сразу начавший под ним таять:

— Рубай!

Если бы тут был командир полка, я бы, наверное, превозмог себя и доложил, что сыт. И на том бы стоял. Но нас с ординарцем было двое. Я сел в снег у входа в землянку, воткнул рядом с собой карабин и достал из-за голенища всегда готовую к бою ложку.

Ординарец курил, глядя на меня сверху. Несчитанные вольные хлеба, при которых служил он на войне бесконтрольно, с урчанием переваривались в нем, и ему было жарко на морозе, он вышел прохладиться. А я ел, не подымая глаз, стыдясь того, что не смог отказаться.

Но еще стыдней мне было моих товарищей, когда я после возвращался на батарею. Если б не это — день был бы чудесен. Я шел, отпустив ремень на одну дырочку, и мороз казался мне мягким, и воздух легким, а вокруг под зимним солнцем нестерпимо сверкали снега, и при каждом орудийном выстреле с белых сосен от сотрясения воздуха падал иней. Я чувствовал в тот день то, что у нас выражалось словами: «Порядок в артиллерии!..» Я был бойцом артиллерийского полка и гордился этим. И конечно же, полк наш был самый лучший, хотя до сих пор почему-то не гвардейский, а артиллерия была именно тот род войск, который единственно в полной мере достоин человека.

Правда, перед тем как стать артиллеристом, я чуть не стал пехотинцем. Далеко за Пермью, на станции, куда эвакуировалась наша семья, формировалась пехотная дивизия. Я все пытался обратиться к кому-то из командиров, но не знал, к кому, а часовые в штаб не пускали. И вдруг

дивизию, еще не до конца сформированную, подняли по тревоге. Ее срочно отправляли на фронт. С утра на площади, на вытоптанном снегу, строились роты и батальоны, станцию оглашали гудки паровозов, лязгал буферами по рожняк, по улицам все бежало и несло вскачь, в домах плакали, а из окрестных деревень по зимним дорогам ехали санями и шли, спешили с узелками бабы, которых уже облетела весть. Они плотным дышащим черным кольцом стояли вокруг вокзала, вокруг площади — жены, любушки, невесты, сестры. Стояли матери и старики. А в середине их плотного кольца на снегу, уже не ихние, строились с оружием их сыновья, подвластные голосу командиров, не смеющие глаз скосить в их сторону. И вот в такое время пробрался я к одному из командиров и попросил, чтобы меня взяли с собой. Он глянул на меня обалделыми глазами:

— Что?!

А когда понял, о чем речь, рывкнул таким офицерским голосом, что меня просто не стало.

Но еще раньше мы с моим школьным другом Димкой Мансуровым едва не сделали летчиками. Это было на второй месяц войны, планировался особенно ускоренный выпуск летного училища, и объявили новый набор. Мы пришли на комиссию. Вот там мы впервые увидели симулянта. Посреди комнаты на крашеном полу корчился голый человек. Вокруг него стояли четверо военных, ждали спокойно и серьезно. Поверх гимнастеров на них были накинuty белые халаты, неподвижно стоявшие хромовые сапоги их блестели, блестел на свету масляный пол, и на нем в лучах солнца выгибалось мускулистое человеческое тело, пятками доставая плеч.

Сейчас, когда с того дня прошло больше лет, чем мне тогда было, я иногда сомневаюсь, был ли он симулянтом,

тот человек? Но время было суровое, и я отчетливо помню брезгливый страх, который, глядя на него, почувствовали мы с Димкой.

В темной комнате я прошел за Димку комиссию по зрению. Но мускулы были лучше у него. То есть даже не то что лучше, а если б не война, со мной бы, видимо, и разговаривать не стали. Но тут особенно раздумывать не приходилось, и врачи решили по-деревенски: была бы кость. А это как раз было.

Помню, мы возвращались с комиссии, свысока глядя на все прочие попадавшие нам навстречу рода войск. Мы уже видели себя летчиками и были патриотами авиации. Но среди того, чему в 41-м году не суждено было свершиться, не состоялся и выпуск училища в сверх-сверхускоренные сроки.

Позже, на фронте, я получил от Димки письмо. Он писал, что учится в училище непробиваемых КВ. А я уже видел не однажды, как они горят. Наверное, в форме танкиста Димка Мансуров, широкогрудый, весь крупный, с большими, даже в мороз теплыми мужскими руками, был как бог. Добрый и грозный бог. Мне больше уже никогда не пришлось видеть его и не придется: он сгорел в танке. А мне суждено было стать артиллеристом, провоевать всю войну и остаться живым.

На ту самую станцию, куда мы эвакуировались и о которой я уже говорил, прибыл вырвавшийся из окружения артполк. Вернее, то, что осталось от него в боях и что должно было образовать костяк будущего полка. Вскоре же начали поступать с заводов новые пушки и тракторы, а во дворе военкомата уже толпились новобранцы, во всем еще домашнем, но уже остриженные под шапками наголо.

Я и теперь не понимаю, как пропустили меня к коман-

диру полка, да еще в тот момент, когда у него находился представитель, приехавший из Москвы. Сильно худой от голода, в зимнем пальто, которое на мне повисло, я предстал перед ними. По прошествии многих лет могу свидетельствовать с полной объективностью: это было жалкое зрелище. Даже после, когда мне уже выдали обмундирование и я в шинели, затянутый ремнем, в солдатских кирзовых сапогах шел по улице, оглядываясь на себя в стекла магазинов, пожилая женщина остановилась и, глядя на меня, вдруг заплакала: «Господи, и таких уже берут...»

Надо полагать, командир полка видел то, что ему предлагали, но тем не менее он терпеливым тихим голосом спрашивал меня:

— Вы буссоль знаете?

Представитель из Москвы, подполковник, в расстегнутом коротком белом полушубке, которых не хватало на фронте, в туго натянутых хромовых сапогах, курил, хмурил брови, ждал. Я не знал, что такое буссоль, и ни разу в жизни ее не видел.

— Стереотрубу знаете?.. Телефонный аппарат?

Я понял, что сейчас меня не возьмут. И тогда я дотронулся рукой до стола, за которым сидел командир полка, и сказал, что на фронте погиб мой старший брат и что я хочу на фронт. Подполковник в полушубке, сидевший нога на ногу боком к столу, скосил глаза на мою руку:

— На что он тебе нужен? Мы тебе знаешь каких мужиков пришлем? Какие еще ни разу паровозного крика не слышали!..

Он был начальство и старший по званию, а я, ничего не умеющий, действительно не был нужен командиру полка. Но он коротко глянул на меня и сказал своим тихим голосом, которым, между прочим, в окружении подымал полк в атаку, на прорыв, сам идя впереди с пистолетом:

— Человек — это такой материал, из которого все можно лепить, тем более, если он сам хочет.

Не знаю, содержится ли в этих словах высшая мудрость, или это самые обычные общеизвестные слова, но мне они показались выражением высшей мудрости: в них была моя судьба. И я всю жизнь благодарен майору Мионову за то, что он их сказал.

А сказав, он вышел со мной в соседнюю комнату, отдал распоряжение о зачислении меня на все виды довольствия. Человек, которому это распоряжение было дано, написал тут же записку, объяснил мне, куда с этой запиской идти, чтобы мне выдали обмундирование, приказал запомнить фамилию старшины, который меня накормит. Я тут же пошел, получил по записке полное обмундирование, но искать старшину, который мог меня накормить, я постеснялся.

Теперь, когда я был в армии, куда столько времени не удавалось мне попасть, я никуда не торопился. И трое суток в обмундировании расхаживал по улицам, встречал патрулей, приветствовал их и чувствовал себя очень хорошо. Будь я шпионом или человеком, преследующим определенные цели, я бы уже давно попался на этой крошечной станции, где все друг у друга на глазах. Но мне и на ум не шло, что я делаю нечто противозаконное, строго-наказуемое в военное время. А между тем начальник разведки полка, который, как выяснилось, с первого взгляда заподозрил во мне афериста, сообщил вскоре в милицию, и меня искали, но не находили, наверное, потому, что я был весь тут, у всех на глазах.

Значит, где-то высоко, невидимая мне самому среди бесчисленных звезд, горела надо мной и моя крошечная звездочка. Много раз бывало так, что, казалось, уже пришло время погаснуть ей. А вот не погасла, горит

до сих пор, и временами я чувствую ее незримый свет.

На третий день я сам явился в штаб полка, вошел и сказал: «Здравствуйте...» В штабе был начальник штаба полка, помощник начальника штаба, писаря — целый служебный организм, взаимосвязанный и взаимоподчиненный — и вот я, ни у кого не спросив разрешения обратиться, никому ничего не докладывая о себе, вхожу и говорю всем свое общее, насквозь гражданское «Здравствуйте...» На взгляд военного человека я, наверное, в тот момент выглядел радостным идиотом. Во всяком случае, все, оторвавшись от своих занятий, смотрели на меня, а я, очень довольный, стоял в дверях, доброжелательно улыбаясь, словно ждал, что сейчас скажут: «Смотрите, кто пришел!..»

Наконец один из писарей узнал меня, шепнул другому, и они тайком от начальства начали посмеиваться и прыскать, ожидая дальнейшей потехи. Они понимали, что мне предстоит.

Как раз было время обеденного перерыва, все вскоре встали и ушли, но начальник разведки по собственной доброй воле остался со мной. Он сел, сказал мне, где и как перед ним стать, и начал подробно рассказывать, что меня ждет в дальнейшем, если я так начинаю свою службу. Среди того, что ждало меня, военный трибунал был не самым страшным.

У начальника разведки от насморка слезились красные глаза. Он часто вынимал платок, сморкался, посмотрев в платок, качал головой и опять занимался мною. Он говорил медленно и тягуче, около получаса, жертвуя своим обеденным временем, и хотя перечислял страшные кары, я почему-то понял сразу, что мне ничего не будет.

Вот так, надолго вперед обо всем предупрежденный, я стал рядовым гаубичного 387-го артиллерийского полка. А уже после кто-то вычислил и доказал, что я — самый мо-

лодой в полку. Еще не понимая хорошенько, к чему это применить, я сильно возвысился в своих глазах и даже в глазах окружающих. Я не подозревал в то время, какие огорчения ждут меня впереди. Потому что первенство мое было особого коварного свойства. Даже при самом большом старании, при максимальном усердии с моей стороны, я все равно не мог не утратить его со временем. И я его утерял.

Мне так никогда и не пришлось видеть человека, который отнял у меня первенство. Но он дал мне почувствовать, что я имел. Я понял вкус этого слова: «Первый». И уже не смог его забыть. Я стал на ту тропу, с которой люди добровольно не сходят. А если срываются, то вновь и вновь, всеми силами, обрывая ногти в кровь, карабкаются на нее. Грех познания, древнейший из человеческих грехов, по-прежнему мстит вкусившим.

1965 г.

Раннее зимнее утро. Еще не топили печь, в комнате сумеречно, зябко — не хочется вылезать из-под одеяла. Дверь в столовую прикрыта неплотно; там горит свет и слышны голоса. Сонный, недовольный — это голос Лиды.

Про Лиду известно, что у нее можно хоть кол на голове тесать, и потому у мамы голос уже с утра раздраженный и срывается. Всякий раз, когда мама сердится, худая шея ее напрягается, краснеет, лицо делается некрасивым, и Наташе до слез жалко маму.

Каждое утро Наташу отводят в детский сад. На улицах в этот час одни дворники, и в морозном пару горят фонари. Рот и нос у Наташи завязаны, ей душно, неудобно, она левой рукой прижимает к себе куклу и все оглядывается на дворника дядю Василия, который во всю ширину тротуара машет метлой. На углу стоит красный дом. Из высоких окон первого этажа всегда валит густой белый пар, пахнувший горячими булками. Если заглянуть туда, увидишь людей в колпаках, с голыми, несмотря на мороз, руками. Наташа постояла бы, посмотрела, но мама торопится и тянет ее.

Сегодня Наташа остается дома, потому что, когда они вчера пришли в детский сад, воспитательница сказала: «А у нас карантин» — и ущипнула Наташу за щеку.

Сейчас мама уйдет на службу, а Лида повернется на другой бок, с головой укроется одеялом и долго еще будет спать.

Пока Лида спит, Наташа тихонько встает, прибирает в комнате и садится шить кукле платье. Кукла сидит напротив на стуле и смотрит. В комнате уже светло, и иней на стеклах серый. Наташа шьет, качает ногой и поет про все, что видит. Песни она сочиняет сама.

— Ты мне мешаешь!

Это говорит Лида, сердито и глухо, словно из-под подушки.

— Лида, а угли в печи опять прогорели,— и, прикусив губу, Наташа смотрит на дверь. Лида не слышит.

Она просыпается поздно, испуганно глядит на часы, вскакивает и сразу же начинает спешить. В кухне гремят кастрюли, что-то с грохотом падает, то и дело слышится:

— Поставь чашки на стол! Достань хлеб!

Наташа ставит чашки, достает хлеб, потом взбирается на стул и ждет. Завтракают они так, будто спешат на пожар. Чай горячий, и когда Лида подносит чашку ко рту, брови у нее взлетают вверх. В этот момент она похожа на папу. Соседка говорит, что Лида и папа — это две капли воды.

Наташа помнит, как однажды, очень давно, они все вместе — мама, папа, Лида и она — ездили на реку. Было жарко, Наташа босиком бегала по горячему песку. Потом папа посадил ее на плечо — оно тоже было горячим от солнца — и вместе с ней, отчаянно визжавшей у него над ухом, побежал в воду. А на песке, вытянув длинные загорелые ноги с белыми ступнями и поглаживая их, сидела мама, молодая, красивая. Она махала рукой, и кричала им, и смеялась. Золотые мамины волосы пахли особенно, ни у кого так не пахнут. И все кругом в этот день смеялось, и река блестела от солнца...

Недавно папа приезжал к ним. Как раз на Новый год. Открывать дверь бросилась Лида, и, когда мама услышала его голос в коридоре, она словно чего-то испугалась, сорвала с себя фартук и зачем-то начала ощупывать шпильки в волосах. Папа, веселый, румяный, с таким лицом, будто он только что пообедал, снимал с себя шубу — меховой воротник ее искрился от растаявшего снега, — а перед ним

прыгала Лида с коробкой конфет в руках. Но, войдя в комнату и увидев маму, сидевшую прямо, с напряженной спиной, папа как-то сжался весь, стал меньше ростом и в своих блестящих ботинках на толстой подошве ступал осторожно, словно в комнате был больной. А Наташа, собравшаяся бежать ему навстречу, задичилась и так и простояла все время за буфетом, колукая дерево ногтем, и на вопросы только кивала. Потом папа ушел. А на другой день Лида ходила к нему. Она принесла оттуда флакон духов. И мама кричала на Лиду, и у нее напрягалась шея, и на лице выступили красные пятна. Оказывается, папа живет теперь в командировке и к ним приходит только по праздникам.

— Лида, сколько еще осталось до праздника?— спрашивает Наташа, держа блюдце обеими руками.

— До какого праздника?

— До какого-нибудь.

— Не болтай глупости, пей скорей чай и вылезай из-за стола, мне надо уроки готовить.

После завтрака Лида сдвигает посуду на край, раскладывает тетради, книги и, зажав уши, принимается что-то быстро-быстро бормотать, поглядывая на часы. По лицу можно подумать, что у нее болят зубы.

Вскоре к Лиде приходит Женя из первого подъезда, та самая, у которой есть младший брат Юрик. Обе забегут с ногами на диван, шепчутся и громко хохочут. Наташу выставляют за дверь и дверь плотно прикрывают.

— Ну и пожалуйста,— говорит Наташа, сидя на полу и наряжая куклу.— Они, наверное, думают, что нам интересно. А нам ни капелечки, ни вот столечко даже не интересно.

Лида спохватывается в последнюю минуту. Оказалось,

она так и знала, что все равно ничего не успеет. Вместе с Женей они начинают метаться по комнате.

— Лида, вы потеряли что-нибудь?— спрашивает Наташа.— А то я поищу.

На нее не обращают внимания.

Под вешалкой, гоняясь за калошей и стуча ею об пол, Лида наспех командует:

— Чтоб сидела дома и никуда не ходила: вечно мне за тебя достается.

Это Наташа уже знает. Спрятав руки за спину и держась ладонями за локти, она крутится на одном каблуке.

— Не вертись, когда с тобой говорят старшие! И посуду помой.

— У меня Юрка тоже совсем от рук отбился. Просто не знаешь, что с этими малышами делать,— вздыхает Женя и закатывает глаза.

Закрыв за ними дверь, Наташа еще некоторое время слушает удаляющийся топот ног по гулкой лестнице. Теперь в квартире остаются только трое: Наташа, кошка и кукла. Все соседи на работе.

— Сейчас мы с тобой будем мыть посуду,— говорит Наташа, зная, что кукла согласна.— И не вертись, пожалуйста. Вечно мне за тебя достается!

Она звонко хохочет и падает на диван. Кукла подпрыгивает.

Когда посуда перемыта, Наташа задумывается: чем бы еще заняться? Ей скучно и не мешало бы поесть. Вообще-то в кухне на окне стоит масло в масленке. Но масла мало. Пусть лучше оно останется Лиде: Лида учится в девятом классе, и им столько задают уроков, что просто голова кругом идет. Наташа достает из буфета хлеб, кусочек сахара и, сидя на сундуке, качая ногой, ест и спрашивает куклу:

— Хочешь?

Постепенно в глазах Наташи появляется загадочное выражение. Она оглядывается на дверь, на окна и говорит таинственно:

— А я знаю, что мы сейчас сде-елаем...

И на цыпочках идет в кухню. Здесь она выдвигает из угла корзину, берет нож и начинает чистить картошку. Ей представляется, как придет мама со службы, увидит накрытый стол и сделает большие радостные глаза.

«Это, наверное, чужая тетя была здесь и все приготовила?» — спросит мама. А Наташа, словно это не ее касается, будет сидеть в углу и шить кукле платье.

Начистив полную кастрюлю, Наташа подставляет к раковине табурет, взбирается на него и моет каждую картофелину отдельно. Вода в кране ледяная, скоро Наташины руки становятся красными, плохо слушаются, и картофелины выскальзывают, как живые. Наташа смеется, дышит себе на пальцы. А на плите, где тепло, поджав по-старушечьи лапы, спит кошка. Она всякий раз вскакивает на плиту, когда все уходят из кухни.

— Убирайся, пожалуйста, — строго говорит Наташа.

Кошка и ухом не ведет.

— Хорошо! Но имей в виду, я сейчас затоплю.

Кошка приоткрывает один сонный глаз и, увидев, что перед ней Наташа, от которой всегда прячут спички, снова закрывает его. Наташа спихивает ее двумя руками.

Пока на электроплитке жарится картошка, на Наташу нападает хозяйственный азарт. Она достает из-под раковины тряпку, ставит посреди комнаты таз и начинает чашкой носить в него воду. Под вешалкой стоят огромные калоши. В них соседка Мария Ивановна обычно моет пол. Делает она это так: выставляет сначала все стулья в коридор, подтыкает юбку выше колен и надевает калоши на белые

босые ноги. После этого из-под ее двери текут грязные ручьи, мама говорит, что в квартире начался потоп, а жильцы снизу стучат в потолок щетками и приводят управдома.

Стараясь подражать Марии Ивановне, Наташа снимает чулки, босиком влезает в калоши, в каждую из которых свободно входят обе ее ноги сразу. Раздается шлепанье задников — это Наташа идет в соседкиных калошах, как на лыжах.

Когда мама, вернувшись с работы, ключом открывает замок, мимо ее ног стремглав проносится на лестницу угорелая кошка. Она чихает и фыркает. В квартире — сизый чад. Натыкаясь на стены, мама бежит в кухню, откуда валит чад, и в первое мгновение ничего не может сообразить: на плитке стоит сковорода с черной, обуглившейся картошкой. Мама распахивает дверь в столовую. Посреди комнаты в луже воды — Наташа с тряпкой в руках и в огромных соседкиных калошах. Короткое платьице ее подобрано, видны голубые трусики треугольничком. Рядом эмалированный таз, в котором моют голову, и в нем, в грязной воде, качается спичечная коробка. Комната, как после разгрома, мебель сдвинута. Вода натекла под диван, под Лидины лакированные туфли — отцовский подарок, под кожаные чемоданы. И после всего этого мама видит повернувшееся на звук шагов, покрасневшее, все в росинках пота, счастливое Наташино лицо. В следующее мгновение ничего не понимающую, радостную Наташу выдергивают из калош и на весу шлепают по голубым трусикам.

Когда потом ее ставят на пол, она вначале не плачет. Она только с ужасом смотрит на маму серыми, как у мамы, круглыми глазами, смотрит и как будто не узнает. Что-то страшно несправедливое произошло сейчас, и отто-

го, что Наташа не может понять этого, она начинает плакать.

Сидя в углу между шкафом и стеной, прижав к себе куклу, Наташа плачет изо всех сил, чтобы слышала мама на кухне. Ей жалко себя, и кукле жалко Наташу, и лицо у куклы мокрое от слез.

Между тем окно из синего становится черным, короткие сумерки быстро сгущаются, уже не различишь, где кровать, где стол, и только блестят стекла фотографий на стенах, отражая свет уличных фонарей. И теперь Наташа плачет оттого, что ей страшно одной, а мама все не идет из кухни. Она так и засыпает в слезах и во сне всхлипывает.

Во сне Наташа чувствует, как ее поднимают и несут куда-то. Вздохнув, она просыпается.

— Спи, моя помощница маленькая,— говорит мама, и горячая рука с потрескавшимися от картошки, шершавыми пальцами гладит Наташу по лицу.

Наташе становится так тепло, так хорошо и ласково на душе, что она прижимает к щеке мамину руку и целует на ней набухшие, родные синие жилочки. И Наташа верит, что теперь всегда все будет хорошо.

1956 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Карпухин. Повесть	3
Зягья. Киноповесть	103
Жена. Рассказ	176
Как я потерял первенство. Невыдуманный рассказ	182
Помощница. Рассказ	193

Григорий Яковлевич Бакланов

КАРПУХИН

Редактор **Е. Н. Янковская**
Художник **И. А. Кононов**
Художественный редактор **Э. А. Розен**
Технический редактор **Т. Ф. Клапцова**
Корректор **А. Ф. Грушина**

Сд. в наб. 19/VII-66 г. Подп. к печ. 5/XI-66 г. Форм.
бум. 70×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 6,25. Усл. печ. л. 8,56.
Уч.-изд. л. 8,7. Изд. инд. ЛХ-158. А14648. Тираж
50 000 экз. Цена 26 коп. Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия»,
Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Коми-
тета по печати при Совете Министров РСФСР,
г. Электросталь Московской области, Школьная, 25,
Заказ № 533,

26 коп.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ